КРЕСТИНСКИЙ, Александр Алексеевич

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

Крестинский А.А. Мальчики из блокады: Рассказы и повесть / Рис. Н. Кошельникова. — Л.: Дет. лит., 1983. — 143 с., ил. — Тираж 100 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

Довоенные мои игры
Мартын и Шалупейка
Гном
Наша с Волькой борьба
Белая дверь в актовый зал

Довоенные мои игры

Я сижу на краешке стула. Стул старинный, черный, с высокой прямой спинкой, украшенной по верху строгой резьбой. Сиденье кожаное, стертая добела, прижатое по краям почерневшими медными бляшками. Такая же кожаная подушечка на спинке стула. Стоит мне отклониться назад — я чувствую эту подушечку лопатками. Но я стараюсь сидеть неподвижно. Стул очень старый и при малейшем движении громко и протяжно скрипит. И я сижу в мучительно неудобной позе, вперекрутку, одна нога на весу, другая обвилась вокруг ножки стула, руки вцепились в края сиденья — я так сижу уже давно и стараюсь дышать как можно тише, потому что и на дыхание мое стул тоже отзывается.

Наискосок от меня, через стол, сидит Кроня. Стол накрыт белой вафельной скатертью. Скатерть старенькая. В иных местах сквозь редкие ниточки просвечивает столешница. По такой скатерти приятно провести рукой — почувствовать все ее мелкие выпуклые шашечки.

Посреди стола желтое пятно от низко висящего шелкового абажура. Абажур оранжевый, с густой бахромой. Вокруг него кругами расходятся тени. Чем дальше от стола — тем они глубже. Кронины руки видны хорошо, лицо окутано мягким сумраком. Ходики на дальней стене угадываются по звуку и торопливому ходу маятника.

Я не шевелюсь — боюсь привлечь к себе Кронино внимание. Стесняюсь я Крони, как никого.

А Кроня не замечает меня. Я для него один из тех мальчишек, что время от времени появляются здесь со своими мамами, которых обшивает с головы до ног Кронина мама, Мария Михайловна. И пока Мария Михайловна снимает мерку, приметывает, примеряет что-нибудь, а то и просто болтает с клиентками, я сижу в проходной комнате на высоком старинном стуле и жду. Из соседней комнаты до меня доносятся приглушенные женские голоса, смех. Световая линия резко очерчивает контур дивана, а рядом, за столом, сидит худой подросток. Молчаливый, сумрачный Кроня. Стол завален учебниками, тетрадами. Кронины глаза сосредоточены. Тонкие губы большого сильного рта вздрагивают — думают. Шевелятся брови — тоже думают. Изредка рассеянный Кронин взгляд подымается от тетради и несколько секунд блуждает по комнате, как бы отдыхая. При этом он невольно натывается на притихшую за столом фигурку. Взгляд скользит мимо, не задерживаясь, как если бы это был пустой стул, без какого ни на есть человечка на нем.

Что ж, Кроня приучил свой глаз не воспринимать посторонних в комнате в те часы, когда он готовил уроки, потому что другого выхода у него не было.

...Украдкой я разглядываю Кроню. Впервые на моих глазах он занят не уроками. В застиранном сером свитерке домашней вязки с едва заметным чернильным пятном на рукаве, Кроня низко склонился над столом. Перед ним — горка золотистой соломы. Кроня плетет игрушечную корзинку. Длинные его пальцы с узкими ногтями двигаются быстро и ловко. Кронино лицо в дымчатой тени абажура кажется шире, чем на самом деле. Вообще-то лицо у него узкое и длинное, нос тонкий, с характерной горбинкой и высоким вырезом ноздрей. Мягкие сивые волосы падают на лоб небрежной прядью.

Затаив дыхание, я слежу за Крониной работой. На моих глазах рождается чудо — изящная кукольная корзинка для грибов. Подарок кому-нибудь? Или просто так, забава, для себя?..

Готово. Кроня щелчком отодвигает корзинку в сторону. Прищурясь, разглядывает. Хрустит пальцами...

Я знаю нескольких мальчиков такого возраста, как Кроня. Но только он один вызывает у меня чувство таинственного и неугасимого интереса, желание как можно чаще видеть его и непрестанно размышлять о нем.

Быть может, все началось с имени? Кроня, Кронид...

Быть может. Имя редкое, странное.

Я мечтал, чтоб он со мной заговорил. Тогда бы само собой обнаружилось, что я умею читать и знаю многие книги, которые читают большие мальчики... Но Кроня не заговаривал со мной.

Иногда мы приходили к Марии Михайловне днем, когда Кроня был в школе. Я переживал тогда противоречивые чувства: с одной стороны, я жалел, что не вижу Крони, с другой — радовался своей свободе, нескованности, которые сразу покидали меня в его присутствии. Мое воображаемое общение с Кроней здесь, в комнате, рядом с его мамой и его вещами, было гораздо сильнее и важнее реального.

Я любил эти дневные посещения их дома, и особенно — в зимние солнечные дни. Мария Михайловна встречала нас необычайно красивая и неповторимым, гортанным, вибрирующим голосом повторяла: «Ну давайте-ка, давайте-ка развернем этот куль...»

Ловкий веник гулял по моим валенкам, стряхивая снег. Я вбегал в Кронину комнату смело, не опасаясь, что застаю его там. Колочее зимнее солнце било в обледеневшие тусклые стекла. В круглой печке, покрытой серебристой краской, трещали дрова. Полосатый красно-черный половик тянулся от двери до окна, и я садился на этот половик поближе к печке, и тонкие руки Марии Михайловны протягивали мне тяжелую кипу журналов «Вокруг света». Это были Кронины журналы. Я листал их, разглядывая картинки, и многие рассказы успел прочесть, а Кроня и не подозревал об этом!

Я играл его оловянными солдатиками, которые, по-моему, вообще были заброшены и валялись без дела, а я всякий раз оставлял их выстроенными в боевой порядок и шепотом приказывал командиру отдать Кроне честь, как только тот придет из школы.

Если бы Кроня однажды заговорил со мной! Ему не показалось бы скучно.

Днем дверь в соседнюю комнату была открыта, и, отрываясь от игры, я видел столик со швейной машиной, коричневый манекен с высокой грудью, яркие тряпки... Я не прислушивался к разговорам мамы и Марии Михайловны. Они, эти разговоры, существовали в окружавшем меня пространстве как легкое, неясное бормотание, похожее на мирное жужжание пчел в густой июльской траве. Мама и Мария Михайловна были приятельницы, и потому мы проводили в этом доме гораздо больше времени, чем того требовали швейные дела.

Слыша голос Марии Михайловны, я инстинктивно подымал глаза и долго не мог оторвать взгляда от ее удивительной головы. Это была очень молодая голова. Пышные и тонкие волосы нежной белизны и — черные брови. И черные же — глаза. И румяные щеки. И тонкий нос с таким же глубоким, как у Крони, вырезом ноздрей. И маленькие розовые уши, в которых позванивали длинные серьги. А если к этому прибавить еще и колдовской вибрирующий голос, станет понятным чувство удивления и восторга, которое я испытывал, видя Марию Михайловну. Царевна из сказки, и только.

У них в доме всегда было тихо. И всегда слышался торопливый бег ходиков. А какие бури гремели над уютным мирком, внутри этих теплых стен, — я не знаю. Они, конечно, были, эти бури. Без них не обходится ни один дом.

Однажды, когда мы собрались уж было уходить от Марии Михайловны, мама отослала меня вперед, а сама задержалась.

Выйдя на крыльцо, я очутился среди чистой и тихой зимы. Бесшумно падали крупные хлопья снега, невидимое солнце освещало верхушки трех высоких деревьев. Верхушки были розовыми, ниже деревья казались лиловыми. Двор отделялся от улицы невысоким заборчиком. Заборчик венчали хрупкие столбики снега. На моих глазах они беззвучно рушились и снова начинали расти. Вдруг откуда-то сбоку послышались голос и смех. На крыше сарая я увидел Кроню. Он был в легкой курточке с кудрявым меховым воротником, в лыжной вязаной шапке.

— Гляди, — сказал он кому-то, — это совсем не страшно...

Спружинив на высоких ногах и широко взмахнув руками, Кроня прыгнул вниз, в сугроб. Облако снежной пыли на секунду скрыло его.

Я услышал счастливый смех и увидел рядом с сугробом, из которого выбирался Кроня, мальчишку — такого же, как я, роста, да и возраста, пожалуй, такого же. Это он смеялся. Странно звучал смех посреди падающего снега — глухо и чисто.

— Видишь, и совсем не страшно, — сказал Кроня. — Сугроб мягкий, не бойся...

Мальчишка топтался на месте, с трудом взглядывая из-под глубокой шапки то на крышу сарая, то на сугроб, куда надо было прыгать.

— Ну, хочешь, я еще раз прыгну? — спросил Кроня.

Мальчишка кивнул.

Кроня ловко взобрался на крышу, цепляясь за дровины, сваленные около сарая. Там он остановился, поправил шапочку, ухнул отчаянно и прыгнул. И снова — облако серебристой пыли, и снова — смех, приглушенный снежной пеленой...

— Да не бойся! Давай руку. Вот так. Теперь сюда. Ставь ногу, смелей! Гоп-ля! Молодец!

Мальчишка стоял рядом с Кроней на краю крыши. Кроня держал его за руку. Я сжался весь, словно это я, а не он стоял рядом с Кроней. Мне страшно было смотреть вниз. Голова моя кружилась. Я цеплялся за Кронину руку, а он высвобождал ее мягко, но решительно...

— Прыгай!

Мальчишка в большой ушанке растопыркой ринулся вниз.

— Ур-ра! — закричал Кроня и прыгнул следом.

Сугроб шевелился, пыхтел, смеялся, кричал...

— Ну, что я говорил!

— А я как прыгну! Как задохнусь! — захлебывался мальчишка. — А снегом как завалит!

— Не страшно?

— Ни капельки!

Врет. Страшно. Но он прыгнул. Все-таки он прыгнул, хоть и цеплялся за Кроню.

— Ой, врешь! Я ж видел, как ты испугался!

— А вот и нисколечко!

— Чего ж ты меня за руку хватал?

— А вот и не хватал, и не хватал!..

Меня они не замечали. А я стоял рядом и все примерял к себе — и эту крышу, и этот сугроб, и Кронин насмешливый голос примерял.

Через несколько дней мы снова пошли на Большую Пушкарскую — так называлась улица, где жил Кроня. Когда проходили через двор, я поглядел на сарай: свежий снег завалил крышу — никаких следов. Зато в памяти эти следы хранились четко. В памяти их ничем не завалишь. И стоило этим следам пробудиться, как я снова пережил чувство обидного одиночества, которое испытал тогда, около крыльца, и снова меня терзали сомнения в собственной храбрости...

В Крониной комнате мною овладело какое-то злое равнодушие. Я не хотел смотреть картинок, не хотел играть. Я хотел, пожалуй, одного: разрушать.

Я устроил разгром Крониной армии. Я разбросал его оловянных солдатиков, словно они убиты. А посреди поверженной армии поставил знаменосца с белым флажком, вырезанным из бумаги. Он сдавался, знаменосец. Капитулировал. Молил о пощаде.

Я все это сделал с холодной решительностью, но легче мне не стало.

В следующий свой приход я обнаружил армию воскресшей. Солдатики стояли сомкнутыми рядами, в колонну по четыре, впереди командир и знаменосец, на древке — красный лоскуток. За колонной двигались две пушки и тачанка с пулеметом. Это была новость — артиллерии у Крони я никогда не видел. Вряд ли Мария Михайловна могла заниматься солдатиками. Ей не до того. В

лучшем случае, смела бы их в коробку, да и дело с концом. Это все Кроня. Он навел здесь порядок.

Из старых облезлых кубиков я построил линию Маннергейма. Потом пробил артиллерией проход и двинул туда войска. Завязался рукопашный бой на территории противника.

Мама через день работала в вечернюю смену. В такие дни по утрам я твердил: «Идем на Пушкарскую, идем...» Мама удивлялась, но легко уступала: она сама любила ходить к Марии Михайловне, тем более что та шила ей к лету какие-то блузки, юбки... »Маша, ты слышишь, — смеялась мама, — он мне буквально покою не дает — хочу на Пушкарскую, и все!..» Мария Михайловна гладила меня по голове и тихо смеялась своим гортанным волнующим смехом.

Как-то, войдя в Кронину комнату, я даже вскрикнул от удивления: сквозь линию вражеских укреплений мчалась кавалерия — двадцать конников с саблями наголо!.. Кавалерии у Крони раньше не было, это точно. Значит, он достал где-то или купил, чтобы... Нет, это невероятно! Когда я представил себе, как перед уходом в школу Кроня расставляет на полу оловянную конницу и от удовольствия вытягивает губы трубочкой, когда я представил себе, что он при этом думает, — у меня даже в горле защекотало. Моя тайна внезапно выросла и укрепилась, теперь она была и Крониной тайной. Значит, он откликнулся, значит, он принял мою игру! Значит, мы играем вместе, но храним это в тайне!.. Я ликовал.

А когда Кроня придумал пластилиновых врагов, я понял, что люблю его нежно и верно.

Всю зиму я наслаждался своей тайной. Всю зиму ходил на Пушкарскую и играл в солдатики. С Кроней, но без Крони. Я так радовался, заметив на полу перед окном что-нибудь новенькое, по сравнению с тем, что было в прошлый раз... Значит, игра продолжалась!

Меня волновала эта тайная игра, и я боялся, что она вдруг кончится.

Помню яркий солнечный день ранней весны, когда, придя на Пушкарскую, я замер перед игрушечным уголком. Укрепления врага были окончательно сметены. Повсюду валялись поверженные пластилиновые человечки. Наша армия походной колонной с развернутыми знаменами возвращалась домой. В хвосте колонны под охраной конницы двигался обоз с трофеями: соломенные кони тянули соломенную телегу, а на телеге лежали конфеты, соевые батончики, шесть штук. Тут же торчала записка: «Угощайтесь нашими трофеями. Они не отравлены». Это был единственный раз, когда в игре участвовало слово, пусть не произнесенное — написанное, но все же слово. Я долго не решался съесть хоть одну конфету. Протягивал руку и не брал. Протягивал и — не брал... Наконец съел одну. Больше не тронул. И понял: игра кончается.

...Январский вечер тысяча девятьсот сорок второго года.

Мы жили на кухне, с окном, забитым фанерой и заложеным подушками. Мы топили плиту книгами, ломали стулья, шкафы, из своей хлебной пайки варили тюрю и глотали ее, обжигаясь. Хлеб, суп и каша — все вместе. Когда плита немного остывала, мы клали на нее матрац и ложились.

...Стук в дверь. Так поздно? Кто бы это мог быть? Дом пуст, почти вымер.

Мама пошла открывать. Когда вернулась, впереди нее в кухню влетело тугое облако холода. Я плотней закутался в одеяло.

— Скорей закрой!

— Сейчас, — сказала мама и кому-то: — Проходите сюда.

При тусклом свете коптилки я увидел высокого человека в полушубке, заслонившего собой проход.

Мама поставила коптилку повыше, и тут ярко блеснул иней на бровях, воротнике и шапке незнакомца. Коптилка несла дрожащий неверный свет и скрадывала подробности. Казалось, мир состоял из черных провалов и серебристо-серых выпуклостей. Больше ничего в нем не было.

Незнакомец кашлянул и глухо произнес:

— Я Кроня.

— Господи, Кроня! — Мама так и села на кровать. Я вглядывался в человека, который только что назвал себя Кроней... Кроня — здесь? Да быть этого не может!

— Господи, Кроня... — Мама замолчала. Потом, переведя дух: — Что Маша?

— Мама умерла, — сказал Кроня все тем же глухим, безразличным голосом. — Две недели уж. Без меня свезли. Даже не знаю куда.

— Горе, горе... Вот и мы папочку своего свезли, — сказала мама и, закрыв лицо руками, стала раскачиваться на кровати. Я очень боялся этого беззвучного, бесслезного плача и стал уговаривать ее:

— Мама! Не надо, мама!..

— Простите, я на минуту. — Кроня потоптался, оглядел нашу кухню. Я заметил у него на поясе кобуру.

Мама очнулась, опустила руки на колени.

— Кронечка, Кронечка... Угостить мне тебя нечем. Только кипяток в духовке. Выпей кипятку на дорогу.

— Спасибо, не беспокойтесь. Да мне и некогда. Машина ждет. Я ведь буквально чудом сюда...

Он стащил с плеча вещевой мешок, стал развязывать.

— Возьмите... Это конина.

Кроня протянул маме длинный сверток.

— Кронечка, да что это вы!.. Да вам самим пригодится... — Мама вдруг перешла на «вы». — Зачем же вы так... Возьмите обратно.

Мама говорила торопливым шепотом, она задыхалась от волнения, от радости, от того, что держит в руках чудо, волшебство, мясо! И, говоря эти жалкие, подобострастные, неискренние слова, она все крепче прижимала к груди газетный сверток, а я цепко схватывал глазами каждое ее движение и обмирал при каждом ее слове, и веря и не веря, что она может отдать, вернуть, а Кроня может положить сверток обратно в мешок и унести. Это дико, нелепо, но это правда: я обрадовался, когда Кроня ушел.

Мама закрыла за ним дверь, вошла в кухню, остановилась у плиты. Я сидел на постели и сжимал в руках холодный тяжелый сверток. Мы молчали. Было слышно, как проскрипели по ступеням Кронины шаги, потом по двору — тише, тише... А после — зафыркал, заурчал мотор на улице... И все стихло.

Мама протянула ко мне руки, обняла меня вместе со свертком, и мы заплакали — от горя, от радости, от надежды и удачи, от ослепительной удачи, которая называлась — конина.

К концу войны я был худым, большеротым, лохматым подростком, неунывающим и добычливым, как все ленинградские мальчишки.

Помню, промышляли мы в ту осень около Музкомедии — спекулировали билетами. Верховодил над нами Кика-толстый, парень с довоенным румянцем во всю щеку. В условленный час мы собирались в сумрачной подворотне на улице Ракова. Кика выдавал нам билеты, говорил, почему продавать. С выручки каждый получал свой процент. Кика жадничал, но спорить с ним не решались. Помощников он выбирал с толком: в чем только душа держалась. И понятно, все мы стремились к одному: продать билеты выше установленной Кикой цены — это был наш «законный» заработок, о котором Кика не знал.

В тот дождливый вечер я быстро сплавил свои билеты. Все, кроме одного. Я уже весь был мокрешенек и дрожал от холода, но билет у меня не покупали. Люди спешили мимо под зонтиками. Прошли, весело разговаривая, мальчишки из Кикиной шараги. Я окликнул их.

— Порядочек! — отозвались они. — А у тебя?

— Один остался.

— Иди к подъезду, сейчас начнется. Может, подвалит кто...

Я подошел к театру. Там нынче «Сильва». За тяжелыми дверьми — свет, тепло, музыка... Меня передернуло от сырости.

— Эй, парень, билета нет?

...Высокая фигура в плащ-палатке. Блестящие глаза под навесом капюшона, узкий нос с горбинкой.

— Билета нет, спрашиваю?

Я кивнул: есть, мол...

Крепкий рот. Узкие, твердые губы. Небольшие усики над верхней губой. У меня дыхание перехватило.

— Послушай, парень... — Тон стал просительным. — Послушай. Ты еще сходишь! А я на один вечер, понимаешь... Завтра снова уезжаю...

Постепенно до меня дошло. Он думает, я сам собираюсь в театр. Он просит, чтоб я уступил.

Неужели Кроня?.. Но голос, голос неузнаваем — твердый, резкий. Если б он скинул капюшон, я б узнал тогда. Назвать по имени? А вдруг не он? Нет, не могу.

— Чего ж ты молчишь? Отвечай! Вот деньги... — Он доставал из карманов бумажки, шуршал ими... И такое отчаяние было в его голосе, что я не выдержал. Сунул ему в руки билет и побежал.

Я бежал домой, глотая дождь, перепрыгивая через лужи, а то и нарочно попадая в них ногой. А-а, чем мокрее, тем лучше! В ушах моих все звучал удивленный голос: «Парень, куда ж ты!» Завтра мне предстояла расплата с Кикой, надо где-то доставать денег, а где — я не знаю, ну и наплевать, чего-нибудь придумаю... Чем мокрее, тем лучше!

С тех пор прошло много лет. Очень много. Просто не верится, что ты сам их прожил, а не смотрел со стороны, как они шли, шли и шли...

Однажды я оказался на Петроградской стороне, где давно, очень давно не был. И жил, и работал я в новом, дальнем районе.

Задумавшись, я шел по улице и вдруг поймал себя на том, что сквозь сутолоку обыденных забот продирается какое-то неосознанное беспокойство. Было похоже на то, как спишь, накрывшись с головой одеялом, а кто-то звонит у двери, и звонок пробивается к тебе сквозь толщу сна, и сначала он тебе как бы действительно снится, а потом, постепенно, вырывается из сна и тебя за собой тянет.

...Я иду по красивой просторной улице и, когда вижу, что от беспокойства мне не отделаться, пытаюсь понять его причину. Я ищу причину в своих сегодняшних делах и мыслях и не нахожу ее там. Останавливаюсь на перекрестке, чтобы переждать поток машин, оглядываюсь и вдруг чувствую сильный внутренний толчок. Толчок почти физический, словно понукание — что-то делать, куда-то идти... Снова оглядываюсь и застаю на месте. Я вижу широкий двор с тремя огромными старыми деревьями, а рядом — еще деревья, помоложе. Ищу деревянный заборчик — его нет. Вместо него низкий каменный барьер, а дальше — скамейки, газоны... Взгляд летит в глубь двора, я узнаю парадную, ярко освещенные окна четвертого этажа... То, о чем я до сих пор рассказывал, заняло так много места! В памяти моей все это вспыхнуло мгновенной чередой ярких картин... Я взбегаю по крутой лестнице на четвертый этаж. Тороплюсь отдышаться. Резко нажимаю кнопку звонка. Жду. Замираю, слышу легкие шаги.

— Простите... Здесь живет Кронид...

Только сейчас я сообразил, что не знаю ни отчества, ни фамилии.

— Кронид Павлович, — полуспрашивает, полуутверждает девушка, открывшая мне дверь, и, обернувшись, кричит в глубину коридора: — Папа, к тебе!

И еще до того, как она крикнула это, сразу, стоило мне только взглянуть на нее и увидеть этот гордый профиль, этот характерный вырез ноздрей, тонкий выразительный рот, я подумал: «Дочь!» — и не ошибся.

Он сначала выглянул в коридор, а потом и вышел сразу, на ходу натягивая пиджак и сбоку поглядывая на меня строго, пытаюсь узнать и не узнавая, и, быть может, сердясь на себя за это...

А ко мне только сейчас пришло осознание: где я, у кого я. Я растерялся. Можно было ожидать чего угодно: убит на войне, живет в другом городе, ну, в крайнем случае уехал в командировку... Нет,

все как в сказке: жив, здоров и стоит передо мной. Стоит, улыбается сдержанно и покачивает головой: «Нет, не узнаю... Извините, не томите... Кто вы?»

Был сивый — стал седой. Не такой сединой сед, как Мария Михайловна, не волшебной, а обыкновенной — серой, я бы сказал. Морщины, много морщин, и все прямые, резкие...

— Так кто же вы, назовитесь?

Дальше молчать нельзя, и я сбивчиво, нескладно называю себя, маму, говорю про их дружбу с Марией Михайловной...

Глаза его теплеют, загораются интересом. Он жестом показывает на меня дочери, — а та стоит у полуоткрытой двери, прислонившись головой к косяку, — показывает и говорит:

— Вот, Маша, человек о т т у д а...

И когда Маша кивает в знак полного понимания, я приободряюсь: значит, человек о т т у д а им не безразличен!

— Что ж мы стоим здесь! В комнату, в комнату проходите...

Прежде чем сесть на предложенный мне стул, я, словно не расслышав, прохожу по комнате туда и обратно и успеваю все разглядеть: новая мебель, новая лампа над столом, новые цветы, даже пол новый — не широкие крашенные доски, а паркет... Круглой печки как не бывало! На ее месте — телевизор. Увеличенная фотография Марии Михайловны на стене в профиль. И чуть-чуть глаза на меня... Зато в той, другой комнате я успеваю разглядеть старинную швейную машину. Она стоит на прежнем месте, у окна.

— Садитесь, — повторяет Кроня. Нет, Кронид Павлович...

— Ну, вспоминайте, — говорит он приветливо. Он сидит наискосок от меня через стол, и я вдруг ловлю себя на мысли, что ведь мы с ним разговариваем! Да-да, мы с Кроней разговариваем!.. А Маша слушает нас все в той же позе — щекой к косяку, руки под щеку.

Что-то меня все-таки сдерживает, смущает... Неуверенность, что ли: меня ли он узнал?.. И я осторожно, медленно, о мелочах, о деталях, — чтоб увидел: помню. Помню комнату эту, помню его, тогдашнего, Марию Михайловну помню... Он слушает и поглядывает на Машу.

— Точно. Так и было. Здесь стояла печь. Точно. — Смотрит на меня в упор: — Как это вы все так запомнили? Слушайте, а Диму вы помните? Диму вы разве не знали?..

— Нет, — говорю, — не знал...

— Ну, простите, что перебил... Мне почему-то казалось, что вы его знали... Простите... Вы очень интересно вспоминаете. Продолжайте...

Я продолжаю. Вспоминаю двор, сарай, мальчонку в глубокой шапке. Кроня смеется:

— Кирюха-опенок!.. — Вдруг он вспыхивает: — Послушайте, какой же я болван! Только сейчас сообразил! Ведь это к вам я тогда заходил в январе сорок второго? Ну конечно, к вам! Господи, да я бы вас ни за что не узнал, вы же малявочкой были, а теперь... Маша! Послушай... Я тогда вырвался из части, на один вечер, чудом просто... Пришел сюда, а мамы уже нет. Я ходил,

узнавал, куда увезли... Никто не знает... Я уже собирался уезжать — вспомнил про конину — не увозить же обратно! Я к Диме было хотел... — Он все это говорил, больше обращаясь к дочери, чем ко мне. — Но адреса-то Диминого я не знал, вот обида... А ваш адрес (кивок в мою сторону) я у мамы в записной книжке нашел. Я ведь знал, что они подруги.

У него горели скулы, он нервно покачивался, сцепив пальцы под коленом. Я немного подумал и кивнул в угол:

— Там были солдатики. Пехота, конница...

Тут его лицо вспыхнуло таким добрым лукавством! Поглядев на Машу, он вздохнул иронично:

— Довоенные мои игры...

А я с горечью подумал: «Ну почему, почему не пришел я сюда десять, пятнадцать, двадцать лет тому назад!..»

И я уже готов был продолжить и детально, со знанием мельчайших подробностей, рассказать о бесшумной и тайной войне, которую вели здесь, в углу, оловянные солдатики и пластилиновые человечки, как они брали друг друга в плен, как бежали из плена... Но он опередил меня:

— Так вы в самом деле не знали Диму? Никогда не видели? Как жаль! Хромой такой мальчик, одна ножка короче другой. Не помните? Жаль. Он часто бывал здесь с мамой. Тоже наша заказчица... — И снова к Маше: — Помнишь, я тебе рассказывал? — Яркая улыбка на Машинном лице. И опять мне: — Я вам сейчас расскажу... Это занятная история. Вам будет интересно... Когда Дима приходил сюда, он часто играл с моими солдатами. Устраивал целые баталии на полу. А я очень жалел его, мне казалось ужасно: мальчик, не может бегать, прыгать, ходить на лыжах, кататься на коньках... И я затеял с ним тайную игру... Я знал, когда он придет, и к его приходу устраивал военные парады, покупал специально для него оловянную конницу, мастерил всякие игрушки... Он догадывался, Дима, но молчал. В том-то и была прелесть этой игры, чтобы молчать... Играть и молчать...

Честное слово, мне стало худо. На секунду какую-то, но так худо, что я схватился за сиденье стула. Казалось бы, чепуха, столько лет прошло, да и вообще — детская забава... А вот мне стало худо. Но я быстро взял себя в руки. Он даже не заметил ничего.

«Так, — подумал я, — играл он с Димой, а я только портил им всю игру». Мне стало грустно, я заторопился уходить.

— Да что вы, останьтесь, Маша чай поставит, как же так можно — сорваться с места...

Нет, я не мог остаться. Я должен был уйти.

Странное дело: как будто мы с Кроней теперь почти ровесники, оба взрослые и даже не очень молодые люди, а я по-прежнему чувствую себя младшим по отношению к нему, и от этого мне как-то неуютно.

Мы вышли в коридор. Тут я с трудом поднял на него глаза, а он все время смотрел на меня таким открытым, простым, надежным взглядом, каким о т т у д а смотрят. Я поднял глаза на него и думал в это время про Музкомедию, билет в пятнадцатый ряд и человека в плащ-палатке...

Спросить? А если не он?

И мне по-мальчишески жалко стало того проливного осеннего вечера и захотелось сохранить его в памяти таким, каким он был, ничего в нем не меняя, ничего не убавляя. Пусть так и останется.

Мартын и Шалупейка

Я вошел в класс, огляделся. Показалось, все парты заняты. Я топтался на месте, никого не видя от волнения.

— Садись скорей, — сказала учительница, — первый раз пришел и опаздываешь. Садись! — Она ткнула указкой в глубину класса.

И тогда я увидел руку, зовущую меня, и первое лицо увидел. Рука звала меня широко, открыто, а лицо улыбалось, словно мы с этой девочкой знакомы давно и моего прихода она нетерпеливо ждала.

Класс не обратил внимания ни на нее, ни на меня, — наверно, потому, что свободных мест и правда больше не было, а еще потому, что все с нетерпением ждали конца урока, чтобы потом с еще большим нетерпением ждать конца следующего, за которым маячил светлый, горячий час обеда.

Я сел. Она отодвинулась на самый краешек, искоса поглядывая в мою сторону и отводя глаза, как только я к ней поворачивался.

Худая, стриженная, длинноногая, похожая на мальчишку, в стареньком лыжном костюме с акkuratными заплатками на локтях...

Вот она что-то написала на тетрадной обложке. Подвинула тетрадь ко мне.

«На вшивость проверяли, да?»

...Между прочим, от этой нечисти мы с мамой каким-то чудом убереглись. Зато со мной вышло вот что. В феврале, в очереди за хлебом, я увидел женщину с движущимся серебристым воротником. Я закрыл глаза и долго боялся открывать их, но все равно видел этот воротник, даже еще страшнее. И дома я его видел потом, и всюду. Но главное, с тех пор у меня появилось ощущение, что вся одежда моя д в и ж е т с я. Если кто-то на улице пристально смотрел на меня, я вздрагивал и тщательно оглядывал свое пальто. Когда война кончилась и многое забылось, это все не проходило. Потом почти прошло, и осталось такое: я долго боялся ходить в парикмахерскую. Как только мастер набрасывал на меня белую простыню, я замирал в тоске и дурных предчувствиях. Мука была — стричься. Потом и это прошло.

«Ну и как?» — написала она.

«Ну и так! — ответил я, потому что разозлился. Издеваться вздумала. И добавил: — Стриженная!»

«И не потому, — написала она, — в стационаре всех стригут».

Подвинулась ближе. Теперь тетрадь лежала как раз между нами. Написала, не таясь от учительницы:

«Чем ты вымазан?»

«Ляписом», — ответил я.

Она прыснула и прикрыла рот рукой.

— Воронова, — сказала учительница, — посадили новенького — ты и рада болтать.

Она подождала, пока учительница отвернется.

«Ляпсус, да?»

Я зачеркнул и сверху написал: «Ляпис!»

«Нет, ляпсус! Ты — ляпсус!»

Я не ответил. Она подождала немного и снова заскрипела пером...

«Меня звать Люба. А тебя... — Перо весело дрожит над бумагой. — Ляпсус?»

Я ограничился презрительным взглядом. В ответ она приветливо улыбнулась. В верхнем ряду у нее не хватало зуба. Чтобы закрыть дырочку, она всовывала туда кончик языка.

Ответить я не успел: учительница вызвала меня к доске — она хотела знать, что я помню из арифметики.

Когда я сел на место, Люба ткнула меня в бок: «На!»

Это был маленький, совсем крохотный кусочек хлеба, но то, что она поделилась со мной, поразило меня. В те дни не принято было делиться хлебом. Каждый сурово и строго съедал положенную ему пайку. Матери делились, но это совсем другое дело.

Я подумал, сжимая хлеб в кулаке: «Сытая?.. Не похоже...»

Позже я понял: она безразлична к еде и это у нее в характере. Даже в голод, когда все думали только про еду, она могла думать о другом. В этом было ее естественное превосходство, которое я скоро признал.

Мы переглянулись, как заговорщики, и принялись осторожно есть хлеб. Какой это был сладкий, медленно тающий на языке заговор!..

После уроков она сказала:

— У нас грядка на Петроградской. Пойдешь?..

Мы шли по ярким пустынным улицам и, перебивая друг друга, говорили — каждый о своем. Вдруг оказалось, что кроме телесного голода во мне, да и в ней скопился иной голод — общения. И мы говорили — что попало говорили, что в голову придет, не вдумываясь в то, что говорилось, а просто радуясь, наслаждаясь самим звучанием голоса. Оказалось, даже приоткрыть рот и ощутить напряжение мускулов, готовых вытолкнуть звук, слово, фразу, — оказалось, даже это — радость великая!

Пока мы дошли до Александровского сада, мы знали друг о друге почти все.

...Я так отчетливо вижу сейчас, как мы идем с нею мимо Адмиралтейства, касаясь друг друга плечами, чуть не взявшись за руки, по затененным листвою дорожкам сада. В непрерывном

движении листвы над головой, в мелькании солнечных пятен — такая упорная сила жизни! Она не считается ни с чем — ни с потерями, ни с голодом. Она знает одно: выше, дальше, еще выше! Развернуть лист, раскрыть бутон, благоухать, дать плоды...

На главной аллее сада мы разом остановились и разом, не сговариваясь, закричали: «А помнишь! Помнишь!...» Довоину, Первый май, ярмарку, маски, шары, эскимо...

Помнишь ты все это?..

У меня мелькнуло, что мы могли с нею стоять тогда у одного киоска в затылок друг другу и что я мог у нее — а почему бы и нет? — именно у нее вырвать блестящий раскидай на длинной резинке. Или проткнуть булавкой шар... И что мы могли — рядом! — лететь по этим аллеям в звящей повозке, запряженной черными пони в золотой упряжи...

Я хотел было поделиться с нею своей догадкой, которая, как мне казалось, уже связывала нас особыми — важнее соседских — узами, но почувствовал неловкость. А она засмеялась; «Ой, а помнишь пони?..»

У нее было такое лицо, какое бывает, когда едешь на пони, а вокруг все тебе завидуют.

Самолет был невидим. Он шел на такой высоте, что зенитки не могли его достать. Они надрывались, как псы на привязи: видят вора, а ухватить не могут.

Глазам открылось чистое, до бескрайности чистое небо — ни единого облачка, но в этой синеве — где только? — прятался самолет, начиненный бомбами. Ничем не замутненное небо, блеск солнца и — самолет с бомбами. Он сбросит их не глядя, куда попало, лишь бы сбросить, и не когда-нибудь, а сейчас, днем — в эту сверкающую синеву, в золото и зелень.

— Пойдем скорей, — Люба тянула меня за руку.

Мы не боялись неба. За первый год войны мы притерпелись и к бомбежкам, и к обстрелам. Мы просто спешили на огород и боялись, что тревога задержит нас в пути. Мы хотели проскочить, потому и шли вперед. Да и где было спрятаться, если слева виднелось непроницаемое, как бы безлюдное, Адмиралтейство, а справа — пустынная, словно вымытая перед праздником, Дворцовая площадь.

— Успеть бы через мост, — сказала Люба, — чего ты тащишься, как неживой!..

Я попробовал идти быстрее, но тут же стал задыхаться. Закружилась голова. Я сбавил шаг.

У самого моста, окруженная мешками с песком, вздрагивала в пороховом дыму зенитная батарея. Нас заметили, когда мы вступили на мост. Нам что-то кричали.

Мы шли вперед, громко и часто дыша. Мы шли очень быстро — быстрее, казалось, идти невозможно — сердце выскочит.

— Скорей, скорей! Бежим! — торопила Люба.

Я попытался сделать движения, которые когда-то назывались бегом. Движения я помнил, а вот ноги... Ноги мои тут же наполнились вялой тяжестью, стали подгибаться, и я вновь перешел на шаг.

Люба не выпускала моей руки, я пытался вырваться, хотел выругать ее, но сил моих хватало только на короткое дыхание, обжигающее горло.

От Зоологического музея наперерез нам бежал человек в военной форме. Он бежал вперевалку, одной рукой поправляя сползающую на нос каску, другой — придерживая противогазную сумку. Сапоги его с подковами тяжело бухали по мостовой.

— Сюда, сюда!.. — Люба потянула меня в тень Ростральной колонны. Узорчатая чугунная дверь была распахнута, и мы нырнули в прохладную полутьму.

— Видишь, успели! — шепнула Люба. Она засмеялась. Смех ее смешался со стрельбой. Она выдохнула: — Ой, страшно! — и ткнулась головой мне в грудь. От неожиданности я чуть не упал. Чтоб удержать равновесие, схватил ее за плечи. Вместо того чтобы высвободиться, она еще ближе приткнулась ко мне. За спиной моей был холодный сырой камень.

Мы молчали.

...Тогда я впервые испытал восторг, который потом временами приходил ко мне. С волной восторга накатывали стихи, никому, кроме меня, не понятные, похожие на обломки прекрасных кораблей.

А тогда впервые что-то переполнило меня, подкатило к горлу. Захотелось петь, кричать, плакать. Ослепительный свет солнца бил сквозь щель в ковanej двери. Зенитные пулеметы трещали над головой. Где-то в городе медленно поднялась и глухо рухнула земля.

Мы долго стояли под сырым сводом. Сердце ее колотилось в мои ребра. И мое колотилось так же громко. У меня было теперь как бы два сердца, только бились они вразнобой.

Мы сами уже остановились, а сердца наши еще бежали, обгоняя друг друга.

Я казался себе огромным, как башня, в которой мы спрятались. А над нами стояло чистейшее синее небо без единого облачка. Небо, которому нельзя было доверять.

За высоким забором простирался мертвый Зоопарк — пустые клетки, вольеры, водоемы... А здесь, на грядках, уже пробивались овощи и густо толпились сорняки. Мы сидели на корточках друг против друга и пололи морковь. Я работал быстро и удивлялся, как это у меня просто получается.

Вдруг Люба закричала:

— Ты! Чего делаешь! Морковку повыдергал, а сорняки оставил! Ляпус несчастный!..

Красная, злая, она трясла у меня перед глазами какой-то травой.

— Ты дурак? Дурак, да?

Я сплюнул и отвернулся.

— Сажай обратно! Слышишь? Обратно сажай!

— Еще чего...

— Не будешь?! — Она размахнулась и бросила мне в лицо пучок травы.

Глаза запорошило землей. Я кинулся на нее, и мы покатались по земле. Она дергала меня за волосы, за уши, щипала и кусала. Я дрался с нею всерьез, как дрался бы с мальчишкой. Она и была для меня сейчас мальчишкой, худым, увертливым, коварным.

И все-таки я одолел его. Я положил его на обе лопатки, притиснул коленом к земле, прижал его руки к груди, торжествуя победу...

— Пусти! — выдохнул он с неожиданной силой. Я очнулся.

...Я увидел на глазах ее слезы. Отчаяние было на ее лице, и стыд, и боль. И я машинально отдернул руки от ее груди, так сильно и мгновенно передались мне и эта боль, и этот стыд.

Не глядя на меня, она вскочила с земли, поправила платье и пошла вдоль зоопарковского забора, все быстрее и быстрее.

Я остался сидеть на траве. Я пытался осознать, что же произошло, я весь был стыд и не знал, как буду смотреть ей в глаза.

Потом я стал приводить в порядок грядку. Надо было что-то делать.

Работая, я поглядывал вдоль забора: не возвращается ли... Она не возвращалась.

И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Вернее, мне показалось, что на меня смотрят. Я огляделся. Под разлапистым старым вязом сидели на траве рядышком две старухи в черном. В узловатых пальцах они держали одинаковые суковатые палки и одинаково, медленно жевали серыми губами. Старухи в упор глядели на меня. Я почувствовал озноб. Старухи были похожи на цыганок. Я отвернулся. Они продолжали долбить мой затылок. Тогда я выбрал дерево потолще и спрятался за его шершавым стволом. Стало полегче.

...Я вспомнил наш довоенный бульвар и довоенных старух на скамейках. Те были какие-то чистенькие, кружевные, белые, но тоже преследовали взглядами.

Однажды я шел по бульвару мимо крахмальных панамок, мимо белых платков в горошек, а оттуда, из глубины зеленого коридора, в платье с матросским воротником появилась пятиклассница Надя. Я тогда ужасно ее любил, мне казалось — смертельно, и еще мне казалось — все видят это, и я боялся встретиться с Надей взглядом, а тут надо пройти мимо, может быть, даже остановиться и уж обязательно поздороваться. И все это на виду у старух.

Расстояние между нами сокращалось, свернуть в сторону нельзя — я чувствовал: Надя тоже меня заметила, — и я шел вперед и молил природу о внезапном ливне, затмении или пожаре...

И вот теперь мне кажется, что-то рухнуло, потому что я так любил Надю, а выходит, совсем больше не люблю, даже не могу как следует увидеть ее лицо. Я очень постарался и увидел Надю, но увидел, как на слабом, недопроявленном снимке. Рядом с нею — отчетливо — стояла Люба. Они как бы стояли рядом, но не глядели друг на друга. Рядом с румяной Надей Люба была некрасива. Все у нее слишком — нос и рот, руки и ноги... Я разозлился на чистенькую и красивую Надю. Я так посмотрел на нее, что она поплыла-поплыла и исчезла...

И тогда рядом раздался Любин голос:

— ...а дураки пусть едят сорняки... А дураки...

Я выглянул из-за дерева. Перед глазами — черные коленки. Во все стороны летит трава. И снова голос:

— ...будем мы морковку есть, а дураки...

Я вернулся к грядке. Взял в руки тоненькую былиночку. Морковка это или не морковка?..

Ее пальцы бережно обегали маленький росток, а голос приговаривал, точно над младенцем. Ее пальцы уминали землю вокруг былиночки. Вокруг морковки, значит...

Потом она запела. Давно при мне никто не пел. Мама не пела с тех пор, как война началась. Соседки тоже не пели. Только радио иногда.

Голос у Любы тихий и тонкий. Чуть дрожит. Он кажется хрупким, как та былинка, что обегает ее пальцы. А песню я слышал впервые.

Давно я не был в городе,

Где рос и возмужал,

Где трудную и гордую

Любовь я повстречал.

На улицах фонарики

Светили нам тогда

И в памяти, и в памяти

Остались навсегда.

Фонарики, фонарики,

Свет юности моей,

Фонарики, фонарики,

Светите веселей...

Мне стало грустно.захотелось, чтоб кто-то ласково на меня посмотрел. Люба сидела в траве, обхватив руками колени. Она пела и тихо покачивалась в такт песне.

Мы были одни в парке. Одни, если не считать тех старух. Старухи сидели в прежних позах, только теперь — так мне казалось — глядели не на меня, а на Любу и бесшумно вторили ей, чуть кивая...

Это был странный безлюдный мир, а в нем ровно столько тишины, сколько надо для маленькой песни.

Фонарики, фонарики.

Свет юности моей,

Фонарики, фонарики,

Светите веселей...

Все-таки где-то я ее слышал, эту песню, не слова, а мотив... вспомнить бы, где...

Вспомнил... И ворвалась гармонь, и я увидел пьяное, отчаянное и по-детски обиженное лицо Олега Шерстобитова. Он сидел у ворот нашего дома, играл, курил, сплевывал себе под ноги, а пыли у него в волосах было столько, что голова казалась седой. Он был такой загорелый, каких я не видел никогда. Обгорелый он был. И гимнастерка не зеленая, а совсем белая. Ему кричали в окно: «Олег, иди обедать!» А он: «Сейчас, мать!» Ему опять: «Иди, суп простыл!» А он: «Сейчас, мать...»

Мы, мальчишки, стояли вокруг него и шелохнуться боялись: это был человек оттуда, и пыль на нем была оттуда, и солнце, от которого такой страшный загар, только там горело.

А потом словно в бок меня кто толкнул: я оглянулся, провел взглядом вдоль улицы и увидел отца. Он шел к дому в обычном своем черном пиджаке, в котором всегда ходил на работу, только шел он медленнее, чем обычно. Куда-то пропала его легкая, чуть подпрыгивающая походка, а на ногах было что-то непонятное, и шел он согнувшись — за спиной виднелся вещевого мешок. А на голове — старая кепка со сломанным козырьком.

«Папа!» — закричал я и бросился навстречу. Отец не улыбнулся, слова не сказал, только дотронулся до моего плеча, повернул меня к дому, и я пошел за ним, все еще видя перед собой его лицо.

Оно было сморщенное, с кулачок, и такое же обгорелое, как у Олега. А кепка, пиджак и все-все — в той же мелкой белой пыли. А на ногах — галоши, подвязанные веревками.

Снесен домишко старенький

На улице твоей,

Но светятся фонарики

По-прежнему на ней...

Он был оттуда или почти оттуда — какая разница. Он подымался по лестнице задыхаясь, и одышка его раздавалась на всех этажах. Я шел за ним. Сухой плач стиснул мне горло.

Потом мама мыла отца на кухне, а я таскал воду из прачечной. Вода гремела о железный желоб, пахло щелоком и парным деревом.

...Отец лежал на диване в чистой рубахе. Граница загара на его шее была такой резкой, что я не мог оторвать от нее глаз. Отец рассказывал, с трудом шевеля спекшимися губами:

— ...копали окопы... на брющем... прорвались танки... колодцы загажены... два сухаря... в Ленинград... в Ле...

Он так и заснул на полуслове. Мы сидели рядом, боясь пошевелиться, чтоб не спугнуть его сон. Напрасно боялись. Спал он крепко. Проспал почти сутки. В раскрытое окно долго доносился скрип Олеговой гармони. Небо молчало в ту ночь.

А ты в краю неведомом

За дальнею рекой

Ни радостью, ни бедами

Не делишься со мной.

Фонарики, фонарики,

Свет юности моей,

Фонарики, фонарики,

Светите веселей...

Люба кончила петь. Я кивнул на старух:

— Чего они... Зырят все время.

— Они? Да они слепые.

— Слепые?

— Ну да. С голодухи выпили чего-то и ослепли. Подруги они. Вместе и ослепли.

— Вместе?..

Старухи по-прежнему сидели в тени старого вяза, по-прежнему медленно жевали губами, вспоминали, быть может, какую-нибудь любимую стародавнюю еду... В них не осталось теперь ничего таинственного, просто несчастные, жалкие существа. Мне стало стыдно, будто я их вслух обидел. А ведь пройдет еще немного дней — я привыкну к ним и перестану, почти перестану различать их на фоне старого дерева, они сольются с землей и травой и еще крепче будут держаться друг за друга — единственное, что удерживает их на поверхности жизни...

— Мать идет, — сказала Люба. — Можешь звать тетей Верой.

Широко размахивая руками, к нам подходила женщина в брезентовой куртке, в синем платке. Платок сбился на затылок. Светлые волосы ветром относило в сторону.

— Она трамвайщица, — сказала Люба. — Вагоновожатая. Здесь все из трампарка.

Женщина подходила, глядя на меня в упор. Взгляд ее узких зеленоватых глаз полоснул по мне с усмешкой. Лицо у нее было сухое, грубокожее, как у людей, целыми днями работающих на ветру.

— Мама, — сказала Люба, — это мальчик...

— Вижу, что не девочка.

— ...это мальчик с нашего класса.

В профиль лицо женщины было острое и красивое, как у индейцев.

— Чернобрысенький, — сказала она коварно-ласковым голосом и, не спросив имени, протянула руку. Быструю, хваткую, горячую. — Чего глаза отводишь, — она улыбнулась, — или совесть нечиста?..

Вот это зубы!.. И блокада нипочем...

— Ну что, чернобрысенький, Любка-то у нас — царица!.. Посватаешься — не отдам.

— Мама!

— Что «мама»? Тринадцать лет мама. И пошутить нельзя. Серьезные вы. А ты молчун, как я посмотрю...

Она придвинулась, погрозила мне пальцем, и я словно оступился: мне показалось, я услышал запах вина...

— Ах ты, девочка-татарочка, досадные дела, — она пела и медленно притопывала, — погуля-гуляла парочкой и двойню родила...

Я не знал, куда девать глаза и руки. Люба резко повернулась и пошла прочь.

— Любка, вернись! — крикнула ей мать. — Ладно, ухожу я.

Она постояла еще, порылась в кармане, протянула нам по кусочку сахара. Из другого кармана достала горбушку, разломала пополам...

— Ешьте, голуби.

Посмотрела, хмурясь, как мы жуем, и пошла вдоль центральной аллеи. Отойдя, запела:

Ах ты, дед, ах ты, дед, ах ты, дед,

в телогреечку-ватовочку одет,

хоть у деда седина с рыжиной,

а меняет он жену за женой!..

— Ты на маму не обижайся. Мама хорошая. Шутит, конечно, так... — Люба помолчала и — резко, будто я спорил с ней: — Ну, выпила! Работа тяжелая — ремонт путей...

Там, под вязом, старухи поднялись, медленно, словно вырастая из-под земли, и пошли прочь от нас, рука об руку, пробуя дорогу палками. Мы смотрели им вслед, пока они не пропали за деревьями.

— Знаешь, я зимой проснусь, плачу, сны все про еду, то хлеб, то котлеты... Проснусь, мама мне титьку даст, пустую титьку почмокаю и опять сплю.

...А еще песни мне пела. Держит на руках, как маленькую, и поет: «А я девочка бедовая, соломенна вдова, моя песенка не новая, знакомые слова...» Или еще: «Не молодо, не зелено,

проверено одно: любить тебя не велено, забыть не суждено». Много разных пела. И сама сочиняла. «Скоро папка наш придет, Любе хлебца привезет...»

Папка на фронт уехал в июле. Мы его на вокзал проводили, ухватились за руки, не пускаем, ему уже грузиться, а мы не пускаем, он сам чуть не плачет, руки отнимает.

...Мама мне рассказывала, как они женились. Папка ее из другой деревни привел со своей матерью знакомить, а мать и говорит ему потом: «Бесстыжая девка твоя. Глазами так и штрюхает. Мне такую невестку даром не надо. Она из-под меня перину вынет». Папка дверью хлопнул и ушел. А за ним кот ушел. Десять лет в доме жил, а за папкой ушел. Пришли они в мамину деревню, папка и кот, стали у маминой мамы жить, у моей хорошей бабушки. Бабушка папке с мамой говорит: «Вы знаете кто? Вы — как Мартын с Шалупейкой. Мартын на пашню — Шалупейка на пашню. Мартын щи хлебать — Шалупейка щи хлебать. Мартын на крышу — Шалупейка на крышу. Мартын с крыши — и Шалупейка за ним».

...Под весну к нам дядя Федя приехал, солдат. Постучался и спрашивает: «Вороновы здесь живут?» Мама испугалась и молчит. А он: «Как же так, соседи сказали — здесь...» Мама говорит: «Ну, значит, все». Догадалась она. Я со двора прихожу — мама на полу сидит, белая, а какой-то солдат ее по голове гладит. «Дочка, — говорит, — очнись, приди в память, дочка...» Я все поняла и от страха язык потеряла. Думали, совсем онемею.

...Дядя Федя пошел семью искать, а ихний дом разбомбило. И никто ничего не знает — то ли погибли, то ли уехали. Скорей всего погибли, потому что в списках эвакуированных он их не нашел. Вот он целый день ходит, ходит, а вечером опять к нам. Мама к спирту тогда привыкла. Выпьют и плачут оба: каждый про свое и про меня — оба...

Дядя Федя стал на фронт уезжать. Собрался, маму поцеловал, меня, по лестнице спустился, дверь хлопнула, я стою... А потом как побегу следом! «Как же так, — думаю, — слова с ним не сказала, не попрощалась...» Догнала и кричу: «Дядя Федя! Стой, погоди!» Он схватил меня на руки и смеется: «Разнемела! Разнемела наша Любка!»

...После старшина приезжал, Оборин. Сказал, дядю Федю убили. Хотел у нас жить, да мы его прогнали — приставала он... — И сплюнула: — Тьфу, дурак!..

...Вернулись мы поздно. Я проводил Любу до дому. Жила она на площади Труда. Около булочной. Здесь мы попрощались. Люба сказала:

— Домой ко мне не ходи. — И, словно опасаясь, что я неправильно пойму, добавила: — Вообще не ходи.

В тот вечер я долго не засыпал. Думал: как она может так — обо всем... Про жизнь, про смерть... Как будто не о себе, не о своем...

Я не могу так. А про смерть — вообще не могу. Про все, сколько я их видел. Потому что, про какую бы я ни подумал, я все вижу ту, одну-единственную, и она душит мне горло.

Как можно столько носить ее в себе и ходить, смеяться, есть, спать?

Только сейчас я научился думать про нее словами.

Отец угасал тихо и безропотно, как жил.

С тех пор как он пришел с окопов вместе с толпой беженцев, подгоняемых голодом и страхом, он уже больше никуда не спешил и ничего не хотел. Он долго болел, потом был на казарменном положении — жил, ночевал на работе, и винтовки стояли у них там прямо возле письменных столов. В те дни он приносил в плошечках суп и кашу и аккуратно завернутый в газету ломтик хлеба. Когда совсем ослаб — ему дали бюллетень и он слег.

В нем надломилось что-то.

Во время бомбежки у нас выбило стекла, окна кое-как заставили фанерой, заложили подушками, всюду свистело и дуло, а он уже не мог ни заклеивать, ни замазывать, ни конопатить.

Подвал наш обчистили: все дрова унесли, оставили только чурбаки каменные — не расколоть. Отец жег в ненасытной печи книги и страдал от этого безмерно.

А ведь были другие люди, и я их знал.

Ах, какие это были люди! Они утепляли свой кров, они двигались, не ложились в постель — знали: нельзя. Они добывали себе буржуйки, правдами-неправдами — дрова, они умывались, черт возьми! И в этом тоже был секрет жизни. В них не угасала сильная злость на себя.

А он? Что он умел? Что мог? Только одно: отдавать. Нам отдавать. Баланду, кашу, хлеб. Отдавать, отдавать, отдавать.

С какой мыслью он умирал? Ведь была она, последняя, когда и говорить уже не мог, самая последняя — край, за которым ничего... Он похоронил нас раньше, чем умер сам. Разве мог он поверить, что мы выживем!

Умирать без надежды остаться в других людях — вот что страшно.

...Я пытаюсь вспомнить хоть один разговор с ним — не детский, мужской. На моей памяти он все больше работал, щелкал и щелкал на своих счетах, вписывал что-то в скучные синие листы. Холодный чай на столе, погасшая папироса в треугольной пепельнице с надписью по ободку: «Шоколад и какао. Фирма Алексеев и К^о»... По выходным — гости, преферанс...

Однажды только, стоя у окна, сумеречного, осеннего, сказал, морщась от папиросного дыма: «Уехать бы в Михайловское, посмотреть, как там осень...» И сам над собой посмеялся: вот, мол, блажь в голову пришла... А потом сказал, повернувшись ко мне: «Только в детстве видишь, как одно в другое переходит: лето — в осень, осень — в зиму... Видишь, но не понимаешь».

...Это был такой холод и так блестели стены от лунного света, точно были они изо льда, из сплошного льда, и до чего ни дотронься, все источает этот жестокий холод.

Холод молчит. Тепло, откуда бы ни исходило, звучит, шепчет что-то, потому что живое, а холод — он мертв. Даже капля воды не упадет, потому что давно превратилась в лед.

Я заразился тогда этим холодом, и он долго, годами выходил из меня, выходил тяжело, ознобом, да так и не вышел весь по сей день и не выйдет, знаю, до конца.

...Стены комнаты подымались в беззвездную высь, и голос мой повторялся там сотни, тысячи раз: «Папа! Папа!» Я кричал, цепляясь за кровать, за одеяло, за костлявые щеки отца. Я кричал на весь дом, и оттого, что дом не откликался, я кричал еще и еще, и крик мой тонул, как человек, не умеющий плавать.

Щетина отцовских щек колола мне руки. Казалось, он живой. Я продолжал расталкивать его, как будто он всего лишь крепко спит и надо разбудить его, во что бы то ни стало разбудить, иначе будет поздно... Но кто-то все время твердил мне: «Тише, тише, не кричи, ему больно, не трогай...» И я уже не кричал, а шептал, и шепот вылетал из меня как теплый комочек жизни, но тут же примерзал намертво к стенам, потолку и бесчисленным, ненужным уже вещам...

Каждый день после уроков мы шли на Петроградскую. Мы пололи и поливали свою морковную грядку, и, пожалуй, не было во всем парке другой такой — чистой, влажной, дымящейся, пышной...

Морковь крепла, наливалась темная зелень, плотными рядами вставала на рыхлой земле, точно зеленые воины строились, воины в шляпах с зелеными перьями. Дул ветерок, и перья на шляпах важно покачивались.

Мы гордились своей грядкой и всем показывали ее. Слава о нашей морковке разнеслась по всему трампарковскому огороду. Одни приходили просто посмотреть, другие — выведать «секрет». Люба смеялась: «Ей-богу, ничем не удобряли! Честное ленинское!» Уходили, недоверчиво косясь через плечо.

Мы раздвигали землю у основания стебля и смотрели: как она там, морковка наша? Не пора ли на пробу? Мы гладили ее: расти, расти...

Забегала тетя Вера — редко, озабоченная и трезвая. Совала нам что-нибудь: «Рубайте, Мартын с Шалупейкой!» И тут же исчезала.

Я спрашивал у Любы:

— Кто это — Мартын с Шалупейкой?

— Да неразлучки такие, — говорила она.

— Какие? Кто? — не отставал я.

— Потом, — отмахивалась, — потом расскажу.

...Мы ходили по газонам, собирали щавель, жевали его до оскомины, лежали на траве — глазами в небо.

Чаще — лежали молча. Иногда разговаривали. Люба рассказывала мне из жизни, я ей — из книжек.

— ...Поль схватил шпагу и прыгнул в окно. Слуга держал на поводу оседланного коня. Как вихрь ворвался он на площадь маленького городка. Двери гостиницы были заперты. «Отворите! — закричал он громовым голосом. — Отворите, иначе я изжарю вас на кончике моей шпаги!» Никто не отзывался...

— А Луиза? Она-то чего? Заорала бы — помогите!

— У нее же кляп во рту.

— А-а-а...

Битый час рассказываю я ей какую-то книжку. По правде говоря, половину я перезабыл, но это не беда, потому что я тут же прибавляю из другой книжки, из третьей, наконец, придумываю на ходу. Не люблю, когда перебивают...

— Ну вот, забыл из-за тебя...

— Никто не отвечал! — подсказывает она.

— Никто не отвечал... Тогда он навалился на дверь могучим плечом, дверь затрещала и подалась. Его глазам предстало страшное зрелище...

Я наворачиваю друг на друга жуткие, невероятные, трогательные события. Столы ломаются от яств, персонажи — благородные храбрецы или отъявленные негодяи. Женщины — только красавицы. Старухи прячут на груди пузырьки с ядом. Кровь льется потоками. Вино — тоже. Наконец у меня заплетается язык.

— А дальше? Дальше что?

— Все кончилось хорошо, — вяло говорю я.

— Поженились, да?

Киваю.

— А потом?

— Дальше не написано.

Какое ей дело, что дальше не написано! Какое ей вообще дело, что во всякой книге есть последняя страница и черным по белому там сказано: «конец».

— А я знаю, что будет дальше, — говорит она.

— Что?

— Луиза станет некрасивая, и он ее разлюбит.

Это не по правилам. В красивую книжную неправду можно добавлять все что угодно, кроме некрасивой правды. А она взяла и добавила. Впрочем, она во всем такая.

Я понимаю теперь: она где-то слышала эту фразу, не сама придумала. Она незаметно примеряла ее на себя, потихоньку, с бьющимся сердцем примеряла, как примеряют материнские платья, бусы, туфли, чувствуя: еще немного — и будет в пору...

— Сколько людей в мире?

— Много.

— Ну сколько?

— Миллиард вроде.

— Ой-е-ей!.. И всех накормить! Шамовки-то сколько надо! Хлеба одного... с ума сойти! И каждый день, каждый день — по три раза! А где взять?..

Она так говорила об этом, как будто сама, лично была ответственна за то, чтобы накормить этот голодный миллиард, чтобы всем хлеба испечь, а тут как раз муки не подвезли...

На меня тоже действовала магия необозримых количеств. До самого горизонта тянулась наша школьная кухня, в луженых котлах закипала вода для всемирного супа, горький дым осиновых дров тысячами клубов подымался в небо, и, брэнча алюминиевыми мисками и котелками, к запаху этих котлов тянулось благодарное человечество...

— Твоего папку как звали?

— Алексей.

— Алеша... А моего Максим.

Максим — Алеша. Алеша — Максим... Удивительно хороши рядом эти имена.

Я спросил:

— А этот, дядя Федя... Он про отца рассказывал?

— Рассказывал. Пошли, говорит, в атаку. Нас, говорит, отбили. Мы опять пошли. Нас опять отбили. Много в поле осталось. И наш...

— А он его... потом видел?

— Нет, не видел. Артиллерия, говорит, поле перепахала, а часть отступила. Слушай, твой папка водку пил?

Я подумал.

— По субботам.

— И мой выпивал, — вздохнула Люба. — Ой, дурной был! То поет, то пляшет, то целует всех... А твой?

— Мой?.. Он... яичницу жарил и меня кормил. «Вы, — говорит, — все тут едите, пьете, а ребенок голодный».

— Ну? — Она долго смеялась. — Кормил? Яичницей?!

...Он кормил меня яичницей, а я плакал, я не хотел яичницы, не хотел его громкого голоса, его запаха, его блестящих глаз, его неверных рук — ничего этого я не хотел, я хотел одного: спать.

Она нырнула с головой в траву и, невидимая, спросила оттуда:

— Ты... влюблялся? Когда-нибудь?

— Нет, — соврал я и снова вспомнил Надю, вернее, услышал ее голос, точь-в-точь как тогда, прошлой, еще не военной зимой, когда я болел свинкой и лежал в постели, а форточка была приоткрыта, и около нее толпился тихий снежок, и в комнату влетали с улицы чистые прозрачные голоса детей. Это не были слова и тем более фразы. Это были отдельные звуки, сплошные гласные, такие певучие: «О-о... а-а-а... э-э-э...» Согласных не было, они тяжело оседали в снег и не достигали окна. Я изо всех сил напрягал слух и каким-то чудом среди этого снегопада гласных уловил — не услышал, именно уловил — Надин голос. Как я был счастлив тогда!

— Нет? Никогда? — переспросила меня трава, зашевелилась и замерла. — А у нас в лагере, до войны, — прошелестела трава, — у нас девчонки мальчишек выбирали, ну, договаривались, кому какой, понимаешь? Была такая Тамарка Ильина, она распределяла. Тычет пальцем: тебе такой-то, тебе такой-то... Мне достался Вовка толстый. А Ледик — ну, который мне нравился — он другой девчонке достался.

...И надо было на свидание идти, под дерево, так договаривались, это тоже Тамарка придумала. Я пришла, а Вовка толстый стоит под деревом и плюет сквозь зубы: цык-цык... Мне противно стало, я чуть не ушла. Тамарки боялась. Она еще велела, чтоб мы на свидании целовались... Вовка поплевал, поплевал, потом дает мне открытку — фонтан Самсон в красках, на обороте написано: «Любе от Вовы». Я хотела «спасибо» сказать, а Вовка убежал. Я так обрадовалась, что он убежал! Вдруг чувствую: кто-то на меня смотрит. Никого нет, а смотрит. Потом вижу: куст зашевелился. Ага! Я вцепилась в куст, а там Тамарка! Ух, я ее... Всю исцарапала! Она в изоляторе два дня сидела.

— А ты?

— Выгнали. С треском.

— А этот?..

— Ледик? — догадалась она. — Ледик и не узнал ничего. Он на кухне дежурил. Хотела ему записку написать, а потом раздумала...

— Почему?

— Не придумала, как начать. Начну и порву. Начну и порву.

— А Мартын с Шалупейкой — это знаешь кто? У бабушки в деревне неразлучки жили. Куда один, туда другой. Все за руки держались, как ненормальные. Председатель Мартына пошлет с сеном на станцию или еще куда, а Шалупейка сидит у околицы и плачет: «А как пойду на крышу, да как кинуся!..»

Я засмеялся.

— Вот. Над ними все смеялись, а они — хоть бы что.

Я подумал: да эти Мартын с Шалупейкой и в самом деле ненормальные. Люба смотрела на меня исподлобья.

— А ты бы так смог?

— Ну, чтоб все смеялись, а тебе наплевать.

— Как это «наплевать»?.. — Я мешкал с ответом, не знал, что сказать.

— Не смог бы. Знаю, что не смог бы. Просто так спросила.

Я обиделся.

— Ну, а когда Мартына этого на фронт взяли, куда твоя Шалупейка делась?

— С ним пошла.

— На фронт?

— А куда же? Конечно, на фронт.

— Сказки.

— А вот и правда.

— Ты откуда знаешь?

— Знаю. Его ранили, она его из боя вынесла, раны перевязала... Он в госпитале лежит, она передачи носит, кисет вышивает...

«Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его...» Старая довоенная песня из пиратского фильма — и эти двое, с такими смешными именами или прозвищами, не знаю... Ну, какая тут может быть связь!

А песня не выходила из головы: «Горячие раны, горячие раны, горячие раны его...»

— Слушай... Я задумала. Вот моя травина, вот твоя. Закрой глаза. Если твоя травина до моей дотронется, то да.

— Что да? — спросил я.

— Да и да, — ответила она сурово, и я подчинился.

Я закрыл глаза и стал водить травинкой по воздуху и водил долго, не встречая преграды. Я чувствовал, как на моем лице застывает глупая улыбка.

— Все, — сказала Люба.

Я открыл глаза: травинки касались друг друга.

— Дотронулся!.. — Я думал, она тоже обрадуется. Она втянула меня в эту игру, и я не хотел, чтоб игра кончалась. — Смотри, — повторил я, — дотронулся...

Она усмехнулась.

— Это я. Сама. Ждать надоело. Как дурачок какой-то — размахивает руками, рот разинул...

И она показала, как я рот разинул.

Значит, сама дотронулась. Все погасло во мне. И я спросил просто так, лишь бы спросить, хотя игра уже кончилась и теперь надо было молчать. Я спросил:

— А что такое «да»?

— «Да» — это значит, что ты — балда, — сказала она, глядя мне прямо в глаза.

Она сама дотронулась до моей травинки! Сама! А я, дурак, ничего не понял...

Трава покачивалась передо мною и горько пахла, и мелкая, подробная, затягивающая жизнь спешила куда-то среди этой травы. Я окунул в нее голову и почувствовал, что должен что-то сказать, что молчать нельзя. Я преодолел тысячелетний страх и на придуманном ею же языке сказал:

— Да. — И еще раз: — Да.

В эту минуту я и сам верил, что да.

На самом деле так оно и было. В нем, в этом коротеньком слове, была, как в семечке, вся будущая жизнь. Со всеми ее побегими, раскрытыми солнцу листьями, грозным шумом ветра над вершиной и редкими цветами, на которые просто смотреть нельзя, так мучительно они хороши.

Мы шли с мамой из булочной и встретили Любу. Я поздоровался. Люба кивнула. Проходя мимо, она проводила маму длинным, откровенно любопытным взглядом.

— Кто это? — На мамином лице удивление.

— Люба Воронова. Я с ней сажу.

— Ну-у-у...

Больше я не услышал от мамы ни слова, но выражение растерянности долго не сходило с ее лица.

На следующий день по дороге на Петроградскую Люба сказала:

— Твоя мама знаешь кто? Дамочка.

Надо было слышать, как она сказала это: «Да-амочка».

— Почему? — Я не мог скрыть обиды.

— По кочану! — отрезала Люба. — А вот моей в магазине продавщица говорит: «Вам чего, дамочка?» А мама ей: «Если я дамочка, ты знаешь кто?.. Пробка от бутылки!» Та обиделась, ужас!..

— И правильно, — сказал я. — А почему дамочка — непонятно.

— Почему?!

Она вытянулась в струнку, вытянула губы, шею, сделала тупо-строгие глаза и, брезгливо растопырив пальцы, пошла, подпрыгивая на негнущихся ногах...

Черт! В этом не было н и ч е г о маминого, и в то же время, в то же время...

— Мама у меня не такая, — сказал я, — а ты дура.

— Ну и хорошо, что не такая. А все равно дамочка. Да-амочка!

— А ты дура.

Каким вялым и бессильным, а главное, неточным было это мое «дура»!

Я понес ей учебник немецкого языка. У нее не было своего, и я понес учебник, чтоб она не схватила двойку. Сама она, разумеется, ни о чем меня не просила.

Собравшись нести учебник, я начисто забыл о том, давнем, предупреждении: «Ко мне не ходи...» И когда к дому подошел, и когда на лестницу ступил, и когда в дверь постучал, — не вспомнил. Ни разу не вспомнил! Я все время думал об одном: как ей понравится, что я догадался принести учебник...

Любы дома не было. У тети Веры сидел тугощекий сержант с пышными обкуренными усами. Взгляд его голубых глаз был странен. Он вроде бы и смотрел, и не смотрел на меня. Он, казалось, глядел куда-то сквозь меня, дальше... От этого, как бы невидящего, взгляда во мне сразу возникло чувство неловкости и жгучее желание обернуться и увидеть, куда же он смотрит, хотя я и догадывался, что н и к у д а.

Тетя Вера небрежно смахнула с плеча его руку...

— Заходи, Мартын. Нету твоей Шалупейки...

Она перехватила мой взгляд, вцепившийся в стол: початая буханка, крупно нарезанное сало, зеленая солдатская фляга, на ней что-то выцарапано...

Прижав буханку к груди, тетя Вера отрезала толстый ломоть, накрыла салом, подала. Я и слова сказать не успел.

— Вот! — Она кивнула сержанту. — Гляди, Любкин ухажер! Как, ничего?..

Я хотел уйти, но хлеб... Хлеб как-то связывал.

Сержант смотрел на меня в упор и не видел. Тут-то я и понял, что он пьян.

— Уберись! — Тетя Вера вновь смахнула его руку, теперь уже с раздражением. Увидев, что я подался к двери, крикнула: — Стой! Иди сюда!

Я решил, она еще что-то хочет мне дать, и обрадовался, но подумал: «Спасибо — и айда...»

— Иди-иди, не бойся... На-ка, почитай вслух. — Она протянула мне тетрадный листок, исписанный химическим карандашом, листок со следами сгибов по диагонали, так что сразу можно догадаться: солдатский треугольник.

Машинально я взял его в руки. Пальцы мои почувствовали шероховатость заношенной бумаги, ее непрочность на сгибах, размочаленные края.

— Осторожно ты! — крикнула тетя Вера. Лицо ее стало красным и злым. «Так не уйти, — понял я, — придется читать».

— Да положи ты хлеб! — снова крикнула она. — Не украдут ведь! Садись.

— Я так... — произнес я едва слышно, одними губами. Полусонный сержант бормотал что-то и снова потянул руку через стол. Тетя Вера отодвинулась от него вместе со стулом.

— Читай! Да громче, чтоб этот слышал!..

Я вглядывался в синие буквы. Они были хорошо различимы там, где карандаш только что помусолили. Но с каждым нажимом становились все слабей и слабей, пока снова не уярчались до синевы. Почерк был детский, неровный, каждая буква стояла отдельно и криво по отношению к соседней. Детский силуэт букв и смысл, который за ними открывался, были несовместимы, и в этом таилась для меня печальная загадка.

— «Родная моя Веруня», — начал я и не узнал своего голоса: он был глухой и вялый. Я невольно проглатывал концы слов...

— Может, горлышко промочить?..

Я испугался и взмок сразу. Письмо набухало в моих потных ладонях. Я старался придать голосу твердости.

— «...Веруня, пишу тебе в перерыв между боями. С каждым днем тут все жарче. Ребята у нас боевые, полны решимости любой ценой остановить вероломного врага. Сейчас короткое затишье, даже жаворонка слышать. Веруня! Я слушаю жаворонка и вспоминаю, как у бабки Вари жили. Поле, стог... Помнишь? Тогда тоже жаворонки пели. Эх, да что там! Смотри смело вперед, после войны наслушаемся досыта! Веруня, ты не подумай плохого...»

Я поднял глаза. Тетя Вера плакала. Она плакала открыто, некрасиво хлюпая носом и смахивая руками слезы.

— Читай! Дальше читай!..

— «...Ты не подумай плохого...» — Тут я сделал паузу, чтобы посмотреть на сержанта. Я хотел знать, как он слушает. Я хотел, чтобы он слушал внимательно.

Сержант спал. Он спал, уронив голову на грудь. В усах его были крошки хлеба. А руки тяжело лежали на столе — справа и слева от тарелки. Темные ладони с кривыми потрескавшимися ногтями...

— Да черт с ним! Читай!..

— «...Ты не подумай плохого, — читал я, приглушив голос, потому что теперь я жалел сержанта — пускай спит, — ты не подумай плохого, Ленинград мы врагу не отдадим, но могут быть трудности, лучше вам с Любой уехать. Очень прошу тебя, знаю, ты упрямая, обещай, что уедешь. Лучше на Урал, к дяде Мите, он...»

Здесь был сгиб, бумага протерлась, разобрать невозможно.

— Он примет, он добрый, — подсказала тетя Вера. — Дальше!

— «...Родная моя, — читал я и чувствовал такую усталость, такую слабость в коленях. Каждое слово я выволакивал из себя, точно бревно тащил крюком из Невы. — Родная моя, золотая, вижу тебя во сне... целую... обними Любашу... Враг будет разбит... Победа будет за нами...»

— А-а, зараза! — незнакомым резким голосом крикнула тетя Вера и с такой силой толкнула от себя стол, что сержант упал на пол. Вернее, он не упал — он сполз, и вот что меня поразило: сползая, он успел с закрытыми еще глазами ухватить со стола фляжку, да так ловко, что и капли не пролилось!..

Я взял свой хлеб и вышел. За моей спиной раздался густой бас сержанта: «Ложная тревога!» Его низкий рокочущий смех. Тишина. Всхлипывания. Опять тишина.

Дневной свет ослепил меня. Я шел, сжимая в руке хлеб, и думал об одном: куда бы спрятаться, где бы отсидеться, перемочь эту страшную усталость, что навалилась на меня...

Потом я увидел, что стою на берегу Пряжки и смотрю в ее неподвижно-маслянистую воду. Время от времени она вспучивалась мутными пузырями. Пузыри были настолько ленивы, что даже не лопались — опадали, и все. К воде спускались пыльные неухоженные грядки. Прошла женщина с

лейкой, зачерпнула воды, стала поливать. От воды, от гряды потянуло чем-то машинным — маслом, железом, бензином... И вдруг — намокшая грядка вспыхнула на солнце, как елочная игрушка! Это засверкали в ней омытые водой тысячи осколков стекла.

— Эй... — окликнули меня.

Я обернулся. Это была Люба. Я посмотрел ей в глаза и понял: она не вдруг меня увидела. Она шла следом и знает, что я был у них...

Покосилась на хлеб.

— Говорила тебе, чтоб не ходил к нам? Говорила или нет?

Я протянул ей книгу.

— Дурачка строишь? Ко мне больше не подходи! Понял?

И оттолкнула мою руку.

Я хотел ей все объяснить, я даже знал, какие слова сказать, и был уверен в их безотказности, но рот мой оказался набит хлебом и салом, и я не мог ни проглотить все это разом, ни тем более выплюнуть. Я обречен был жевать. Я торопился прожевать, чтоб успеть, пока она не ушла, произнести те самые объяснительные слова, а она — она с победительной усмешкой смотрела в мой жующий рот. Я готов был сквозь землю провалиться, но жевал, жевал, давился и жевал... Она сплюнула: «Ляпсус несчастный!» — и ушла. И было в ее походке что-то от тети Веры — плывущее, независимое, — только с поправкой на легкость тринадцати лет.

Рядом раздался сдавленный смешок. Та женщина с лейкой стояла, согнувшись над водой в неловкой позе, и, глядя на меня откуда-то снизу, улыбалась жадной перевернутой улыбкой.

Вечером, сидя над учебниками, я отчетливо, громко произнес: «Нет! Нет!» — и сам испугался.

Мама повернула меня к себе и, держа пальцами за подбородок, долго ловила взглядом мои глаза. Чем дольше ей это не удавалось, тем сильнее она хмурилась. Наконец сказала:

— Фу, противно! — и отдернула руку от моего подбородка, как отдергивают от лягушки.

Не мог же я сказать ей, что мой крик был как заклинание. Что я так ярко, так правдоподобно увидел в нашей комнате того сержанта, что мне пришлось крикнуть «нет!», чтобы он исчез. Да и вообще, это не я кричал. Это во мне что-то крикнуло.

И я молча склонился над учебниками, чувствуя, как медленно сходит с моего лица краснота. Уши долго еще горели. Я закрывал их руками.

Я был уверен: Люба со мной сидеть больше не станет. Я шел в школу и лениво гадал, кто же теперь мой сосед. Оказалось, мне это совершенно безразлично.

Люба сидела на прежнем месте. Сидела прямо, вонзив острые локти в парту, прикрыв ладонями щеки и глаза. Перед нею лежал раскрытый учебник — география.

Я так обрадовался, что она сидит со мной!

— Привет!

Медленно, не поворачивая головы, она вырвала из тетрадки листок (как попало вырвала), быстро написала на нем несколько слов (небрежно, криво написала) и подвинула ко мне, придерживая листок пальцем. Я прочел: «Думаешь не пересела так дружку? Не хочу чтоб трепались вот».

Она изорвала листок на мелкие клочки.

Географию ответила на четыре.

Учительница математики любила неожиданности — на следующем уроке объявила «разведку боем»: контрольную, два варианта. Я остро пожалел о прежних временах: Люба по математике шла первой.

Она склонилась над тетрадью, не закрывая ее от меня, и старательно лепила один столбик за другим.

Мои соседи впереди и сзади были так же безнадежны, как я сам. У Любы за спиной сидел Валька Камыш, самый сытый в нашем классе. Он торговал завтраками и обедами, выменивал на них разные вещи.

Камыш толкал Любу:

— Напиши решение... Слышь! А то худо будет...

Он пихал ее кулаком в спину. Она ни разу не обернулась, даже виду не подала.

Учительница сказала:

— Камышов прекрати.

До конца урока осталось минут пять. Камыш понял, что шпаргалки не будет. Тогда он свернул свой листок в трубку, поднес ее к Любиному уху и тихо, отчетливо произнес:

— Ну... отродье! Жить тебе до перемены...

Люба остановилась писать. Я видел, как побелели ее пальцы, державшие ручку. Как выгнулось на бумаге перо «8б». Как разошлись его половинки и вонзились в бумагу. Как снова соединились и на бумаге остался след — две черные дырки.

Ручка направилась к чернильнице, вернулась к бумаге и принялась снова записывать ряды четких цифр.

Раздался звонок. Дежурные пошли по рядам отбирать работы. Камыш скомкал свой листок и выкинул в форточку.

Учительница вышла из класса. В ту же минуту Люба обернулась и молча вцепилась в мясистые Валькины щеки. Валька — тоже молча — отбивался. Она пригнула голову, но щек его не выпустила. На глазах Камыша показались толстые слезы.

— Еще, — сказала Люба, — еще.

Он бил ее кулаками по голове и громко плакал. Потом она выпустила его.

Камыш выскочил из-за парты.

— Убью!..

Люба стояла спиной к доске, выставив руку с пером. Узкое белое лицо. Белое и глаз не видно.

Девчонки закричали. Я бросился между Любой и Камышом. Свободной рукой она ударила меня по лицу.

— Психичка! — закричал Камыш. Он боялся. Это все видели.

Какие после этого могли быть уроки!.. Но пришла Амалия Петровна, и начался немецкий. Постукивая сухим кулачком по столу, она что-то шпыхала, пока не поднялся Василиса — хромой Вася Зуев. Осколком снаряда ему раздробило кость. Вася поднялся и сказал:

— На кой мне фрицевский учить, я их ненавижу!..

Амалия взволнованно и долго говорила про Шиллера и Гете, читала стихи по-немецки, но никто ее не слушал, все обсуждали свежую драку, и Амалия не выдержала: хлопнула дверью.

Все валится из рук. Открываю учебник, читаю вслух, но слышу при этом совсем другие слова.

Мне жалко всех — тетю Веру, ее погибшего мужа, Любу, себя, маму... Об отце я не говорю, это особое чувство.

Даже сержанта того мне жалко, хотя какое мне до него дело!

А Шаргородский?..

Шаргородский — мамин начальник. Картавый, квадратный, кучерявый человек, припадающий на одну ногу. Шаргородский вызвал маму в кабинет и сделал ей предложение. Мама хохотала до слез, рассказывая мне об этом. Она стонала от смеха. Так она смеялась только до войны...

Дамочка...

Мама — дамочка?

Мама — в ее порыжевшей демисезонке? В сбитых набок туфлях?

Когда туфли эти стоят в коридоре, они склоняются друг к другу, как те старухи в парке...

Какая отвратительная у нее шляпа. С каким ужасным пером. Какие боты — мужские...

Все это я понял внезапно.

...Повеяло легким полузабытым ароматом, словно прошла рядом другая, довоенная мама в чем-то блестящем, струящемся, сладко пахнущем, прохладном на ощупь. И словно вслед ей сказал кто-то: «Смотрите, какая интересная дама...» Голос был оттуда, из тех, давних, времен. Где он звучал, кому принадлежал — не помню...

Пальцы мои вновь ощущают ветхость той почтовой бумаги, затертость ее, хрупкость... А у меня не осталось ни одного письма от отца. Ни одного. Мне он еще не писал писем.

Крашеное перо в шляпе — гадость. Завтра же выдерну!

А если бы она вышла за Шаргородского?..

Мама пришла поздно. Было родительское собрание.

Молча вымыла руки. Не ответила на мое «ну, как».

Я подал чай. Она спросила:

— Ты по-прежнему сидишь с Вороновой?

Зачем спрашивать, знает ведь... Я понял: этот, ненужный, вопрос — лишь подход к другому, главному.

— Ну, сажу...

— Не груби.

— И не думаю.

— Опять грубишь.

Ясно: сама ведет к ссоре, чтоб легче выкричатся. Но при чем тут Люба?..

— Что она за девочка? Развязная, очевидно?

Так... Не может забыть встречу у булочной.

— Девчонка как девчонка.

— Что у тебя за тон?

— У меня — нормальный.

— Значит, у меня ненормальный? Выходит, так?

Начиналось воспитание, отвратительное, как зубная боль. Дважды отвратительное потому, что насквозь пропитано притворством. В который раз с брезгливым удивлением вижу, как нормальный человек превращается в в о с п и т а т е л я. Как появляются эти мучительные складки на лбу, эти тягостные морщинки в углах губ, постная мина, занудный тон...

— Достаточно один раз увидеть ее мать...

Вот оно что...

— ...чтобы понять, что дочь...

Недалеко от нее ушла, не так ли?..

— ...недалеко от нее ушла!

Ну вот, так и знал.

— Ты улыбаешься?!

— А что, нельзя?

— Ты наглеешь с каждым днем! Я потребовала, чтобы вас рассадили!..

Зачем, ну зачем она так... Я ведь знаю: она лучше, добрее, мягче этих каменных слов: «наглеешь, потребовала, недалеко ушла».

Я в смятении. Непонятная новая боль раздирает меня. Смешалось все — и жалость, и любовь, и обида, и — страшно сказать — презрение...

— Зря старалась...

— Ты не смеешь... — Она задыхается от ярости, и мне ее не жаль. Она сейчас не видит, не слышит, не чувствует ничего, кроме одного: кроме желания выпустить на волю какие-то тяжелые силы... — Ты не смеешь общаться с этой...

Задохнулась.

С этой! С какой — с этой? С дрянью небось?

Все смешалось во мне, и я закричал:

— И смею! И буду! С кем хочу, с тем и буду! Не запретишь! Они хорошие! А ты, ты... Иди, Шаргородского воспитывай!

Мама ахнула.

Я хлопнул дверь.

Вернувшись домой, я молча ткнулся головой в мамино плечо. Мама не оттолкнула меня. Глаза у нее были заплаканные.

Я разделся и лег. Я продолжал думать про это. Ну, ладно, за Шаргородского она не вышла бы. А за кого-нибудь другого?..

Значит, мне предстоит жить в постоянном ожидании этого другого? И думать, что я отвечу ей, когда она подойдет ко мне и скажет: «Я выхожу замуж». Нет, не так: «Как ты посмотришь, если я выйду замуж?» Нет, не так: «Ты не против, если я выйду замуж?» Нет, все не так! А как? Как?..

Мне снилась какая-то песня. Проснувшись, я стал вспоминать, какая. Я перебрал много песен — среди них не было той. Мне упрямо хотелось вспомнить ее. Это был азарт, я не давал себе покою. Там снилось что-то вроде: костер, огонь, пламя... Я и так и этак крутил всякие жаркие слова, пока внезапно не вспыхнуло: «Горячие раны, горячие раны, горячие раны его...» Я обрадовался, будто добавку в столовой получил. Я громко спел всю песню, благо был один и никто не мог слышать меня.

«Горячие раны его...»

Мартын и Шалупейка не казались мне сейчас смешными. Они странно притягивали. В них была тайна, которую мне суждено когда-нибудь открыть. Я верил, что суждено.

Занятия в школе кончились. Вместе с другими мальчиками я уезжал в военный лагерь.

В день отъезда с рюкзаком за плечами я пошел на Петроградскую проститься с Любой.

Я шел через мост, за спиной брякали ложка и кружка, солнце окатывало жаром мою голову, и слова той песни звучали во мне: «Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза...»

— Чего пришел? — спросила Люба, не подымаясь с грядки, — она полола и продергивала морковь. Белесые хвостики аккуратным пучком лежали в меже.

— Да так, мимо шел... — сказалось вместо всех смелых, неоспоримых слов, что вытаскивал я по дороге.

— Ну и иди мимо.

— В лагерь уезжаем... — Как я ненавидел себя за эту извиняющуюся интонацию!..

— Скатертью дорожка.

— Я проститься пришел...

— Ах вот что, вы проститься пришли. Ну так прощайтесь скорей, а то некогда.

— Люба... — начал я и забыл все слова на свете.

В эту минуту в уши мне проник звон. Он так естественно и своевольно завладел моим слухом, что не дал времени размышлять и прикидывать, откуда он взялся. Только мелькнуло: знакомый...

Я увидел радость на Любином лице и оглянулся. Сквозь тяжелую зелень парка, непроницаемую, казалось, даже для солнца, пробивалось со стороны проспекта что-то шумное, большое, яркое...

Следом за Любой выбежал я к парковой ограде, пролез в щель между отогнутыми прутьями и остановился. Весь в блистающих стеклах, зеркально-чистый, празднично-шумный, трамвай мерно дышал на нас своим механическим нутром и медленно надвигался, а ветви деревьев хватили его за бока, шуршали по стеклам, по крыше, словно хотели остановить. И остановили.

— Залетайте, голуби, прокачу!

За бликующими стеклами я не сразу разглядел тетю Веру. Ее индейское лицо сегодня особенно красиво. Белая кофта прихвачена у ворота брошкой-якорьком, волосы гладко зачесаны, синяя лента вокруг головы...

— Оглох ты, что ли, чернобрысенький?.. Залетай, говорю!

В вагоне мы вдвоем. Сидим друг против друга на теплых желтых скамейках. Вагон дребезжит, кожаные ручки покачиваются над головой, а солнца сюда набилось столько, словно оно-то и есть главный пассажир.

Люба запела — губы зашевелились. Потом я услышал голос тети Веры: «Фонарики, фонарики, свет юности моей...»

Трамвай то катился плавно, то дергался рывками, он вел себя как человек после долгой лежачей болезни — привыкал к движению, шуму, работе...

Крепко ухватившись за гладкие края скамейки, я прикрыл глаза. И тотчас мне в ноздри хлынул старый забытый запах, точнее, много запахов, целая смесь их. Запахи эти сладкие и теплые, как скамейка, за которую я держусь. Пахнет не просто лаком и кожей, краской и нагретым железом, смазкой и солнечным угаром... Пахнет так, словно я вновь еду на этой скамейке между мамой и папой и снова покачиваюсь в полусне и роняю голову то в папину, то в мамину ладонь. Пахнет людьми, до отказа набившими вагон, их портфелями, сумками, баулами, авоськами,

пудреницами, кошельками... Пахнет душным сумраком вечернего трамвая, в котором мы возвращались домой из дальних гостей. Кажется, я снова забываюсь в неловком и чутком сне и меня снова понесут сейчас из вагона на удобных сильных руках... Пахнет всей прежней жизнью, к которой нет и не может быть возврата.

...Около Марсова поля тетя Вера остановила трамвай. Я вышел. Подбросил рюкзак на плечо. Кружка и ложка дзенькнули. Тетя Вера засмеялась:

— Пиши, солдатик!

Люба стояла на площадке. У нее — я давно это заметил — была способность мгновенно худеть, сжиматься. Лицо ее становилось вдруг узким, как нож, и совершенно взрослым. Но потом пробежал по нему какой-то внутренний ветерок и все — как прежде...

Сейчас я не мог ждать, когда подует этот ветерок. Прощание затягивалось, становилось невыносимым... Я небрежно сказал:

— Пока...

— Пока.

Неужели она сразу уйдет с площадки? Неужели не выгянет, не кивнет, не помашет рукой...

А куда я, собственно, еду, чтоб махать мне рукой?.. В школьный лагерь еду — стрелять из малокалиберки по бумажным мишеням, петь строевые песни, отъедаться сытными солдатскими харчами, отсиживаться в малине на занятиях по уставу... Чего же еще я хочу? Чтоб у околицы плакала?..

Старик в полувоенной форме вежливо прикоснулся к фуражке с красным околышем.

— Будьте любезны... Скоро ли начнет функционировать этот маршрут?

— Скоро! — сказал я. — Очень скоро!

Я вложил в эти слова всю надежду, что у меня оставалась.

Он улыбнулся.

— Это прекрасно. Спасибо, молодой человек.

Я вернулся в город к концу августа.

За лето я сочинил ей много писем. Сочинил, но не написал. В лагере все на виду, спрятаться некуда. И потом — каждое письмо я начинал и кончал такими словами, которые никогда не доверил бы бумаге.

Я вез ей подарки — красивые шишки, речную гальку, гнездо какой-то птицы, выстеленное мягким мхом...

Любу я встретил в школе, вернее, в школьной столовой. Там шумно кормили городской пионерлагерь.

Она медленно несла по проходу между столиками тарелку супа. Тарелка была полная, с верхом. Люба шла осторожно. С двух сторон к ней тянулись руки: «Мне! Мне!...»

Люба взглянула на меня поверх тарелки, оступилась, замедлила шаг, приостановилась и плеснула супом на пол. Вокруг недовольно загалдели. Люба нахмурилась и отвела глаза.

Пока она несла эту тарелку и ставила ее на стол, а над столовой висел грохот — ложки трещали о столы, скамейки, стены, — пока все это происходило, я успел разглядеть ее, и чем дольше я ее разглядывал, тем меньше узнавал, тем больше сомневался: она ли?.. То есть это, конечно, была она, Люба, но какая-то другая, совсем другая... Волосы отросли и уложены, как у тети Веры, под ленточку. Черты лица крупней и мягче. Глаза темней. Движения уверенней и шире. Вся она, вся другая!.. Рядом с нею я показался себе маленьким и нескладным, и это чувство неловкости и несоответствия не проходило, а, наоборот, росло, по мере того, как я приближался к ней.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Пятьдесят пар глаз глядят на меня. Ложки перестали стучать.

— С приездом.

— Чего тут делаешь?

— Вожатой. Извини, некогда...

Раньше бы ей и в голову такое не пришло: «Извини, некогда...»

Подарки оттягивают мне карманы, глупые, детские подарки!.. Камушки, шишки — ведь это ж не ей все — это другой: той, худой, длинноносой, некрасивой...

Эта смотрит спокойно, ясно, дружелюбно, но — как на чужих смотрят и потому — чужелюбно.

Что сказать ей? Что сделать? Что спросить?

— Как старухи там?

— Баба Оля умерла. А баба Таня одна в парк не ходит.

У них были имена, у тех старух, я и не знал, которая кто...

Эта смерть меня не огорчила, не удивила, я словно уже знал о ней, знал давно. Зато возникло вдруг предчувствие иной потери...

— Морковкой угостишь?

— Нечем угощать. — Она отвернулась. — Обчистили грядку.

Ложки снова стучат. Кажется, столовая дрожит от этого треска. Теплый августовский ветер раскачивает клейкие бумажные ленты, униженные мухами. Мухи беспощадно бьются о стекла.

— Люба! Люба! Мне! Мне!..

Я вижу, как за дальним столом в косых лучах солнца блестят ее волосы. Потом я вижу всю ее — в черном проеме дверей, ведущих на кухню. Незнакомо-плавным движением она поправляет прическу, словно там, в невидимом мне пространстве, перед нею зеркало... Потом одергивает передник, оглаживает платье...

Я высыпаю на ближайший стол шишки, камушки.

— Ну, кому? Нател!

— Мне! Мне! И мне!..

Они хватают меня за руки, за штаны, чуть не лезут в карманы. Ну, это уж слишком!..

Вырываюсь из липких рук, вылетаю во двор.

— И мне! И мне! — доносится через окно.

...А мне осталось гнездо неизвестной птицы, выстеленное сухим мхом. Оно пахнет травой, землей и прошлогодним солнцем.

Гном

Я встретил его в магазине «Мелодия» через много лет после детства и поразился, что узнал. Узнал не только потому, что лицо его, характерное размытостью всех черт, застыло раз навсегда в том, знакомом мне, состоянии. Вот еще почему узнал: на нем был старомодный полотняный белый костюм, тюбетейка (конец июля, пыльный сухой полдень), а через плечо — старинная полевая сумка из грубой свиной кожи, а может, из заменителя — черно-зеленовато-пупырчатая, а ремешок брезентовый...

Я мог бы еще сомневаться, Гном это или не Гном, если б не полевая сумка. Она окончательно убедила меня. Он носил на себе знак прошлого неприятно и скромно, как другие носят выцветшие орденские колодки. Носят, забыв о них, по инерции.

Сладко шевельнулась память, я подался к нему, но тут же включились тормоза, я вспыхнул весь внутренне и понял, что не подойду к Гному, потому что мне стыдно.

Я стоял и слушал разговор Гнома с продавщицей. Разговор был тихий, я не все улавливал, но помню, что упоминались Сен-Санс, Берлиоз. Я слушал голос Гнома и узнавал в нем те, стародавние, интонации. У него и тогда был такой вот нежный, певучий, как бы девичий, голос. Любой из нас на его месте постарался бы скрыть эту предательскую нежность за грубостью, развязностью, крикливостью... Гном не скрывал своего девичьего голоса, он ни под кого не подлаживался, не старался выглядеть грубее, чем есть. Он не мог, не умел этого.

Я слушал его голос, смотрел на него и думал: кем он стал? Почтовым работником? Учителем? Бухгалтером?.. Нашел себя в жизни или утешается музыкой после занудной нелюбимой работы?.. Откуда вообще взялась музыка в его жизни? Тогда, во время войны, ничего и похожего не было.

...Лето сорок третьего. Маленький поселок на берегу Финского залива. Запах водорослей, картофельной ботвы, запах костра — от одного воспоминания о нем сильнее бьется сердце... Запах пороха от береговых батарей. Запах кухни. Тренированный нос мгновенно разделяет его на несложные составные.

Длинный одноэтажный дом на горе. Он и сейчас стоит. Мне нечасто приходится ездить по этой ветке, но, когда проезжаю, всякий раз стараюсь опередить поезд, пораньше заметить дом, успеть наглядеться и попрощаться раньше, чем состав промчится мимо.

Дом все тот же, только крыт шифером, а тогда была дранка. Что в нем сейчас, не знаю, да и знать не хочу. Склон горы от дома к дороге теперь изумрудно-зеленый, живая нетронутая трава, а в те далекие времена, был сизый — по всему склону зрела мощная капуста.

В доме жили мы — мальчишки. Девочек поселили ближе к полям — в приземистом бараке. На стене барака суриком был выведен лозунг: «Ударной работой на полях приблизим победу над врагом!».

К тому времени мы уже не были дистрофиками, не дрожали при виде ломтика хлеба. На смену голоду мучительному, ожесточенному пришел голод озорной, веселый, опустошительный...

Моим кумиром был тогда Гришка. Отчаянный, хладнокровный, категоричный, как прямой угол. Я признал его сразу, не задумываясь, шел за ним всюду, соглашаясь с любым его решением. Подчинение Гришке было радостью.

В мальчишеской нашей ораве было несколько вожakov, несколько центров, вокруг которых остальные вились и роились, точно пчелы, всем пылом этого роения провозглашая превосходство своего клана и своего вожака над остальными.

Был широколицый белолицый Ванифатьев из тех генеральских сыновей, что спокойно и уверенно пользуются славой и привилегиями отцов. Вокруг Ванифатьева сбились ландскнехты, готовые по первому знаку броситься в бой, выполнить за него любую работу, в том числе и огородную, если он хотел спать и не выходил в поле...

Раз в неделю Ванифатьеву на генеральской машине привозили припасы. Тогда он с приятелями запирался в комнате, из которой в свое время выгнали Гнома (об этом позже), и оттуда слышалось сытое гоготание, а в окно на капустное поле летели красивые железные банки, пахнущие американской колбасой.

Был еще Борька, цыганистый паренек с диким взглядом косо поставленных глаз. Помню, однажды прискакал он к дому на лохматой водовозке, с гиканьем и свистом объехал вокруг столовой, потом резко остановил лошадь, так что дрожь прошла по костлявым ее бокам, и его тотчас окружила мрачная многозначительная свита. Говорили, Борька на руку нечист — берет у своих...

Наконец, третий центр притяжения — мой Гришка. Вокруг него кругами ходили многие, да он был недоступен. Мы жили с ним в одной комнате — я и Вовка Углов, — потому и стали оруженосцами. Я в большей степени, Вовка в меньшей — по причине своей лени.

У Гришки было рано определившееся волевое лицо, лицо взрослого мужчины, костистое, с выступавшими скулами. Я взял недавно старую школьную фотографию — вот он, Гришка: резкие, четкие линии губ, лба, носа, подбородка. Родись он на два-три года раньше да окажись здоров — уж то-то был бы герой, разведчик, подрывник, храбрец первой руки.

Авантюренность в натуре. Прекрасно развитый торс. При небольшом росте Гришка кажется борцовски сильным. Ниже пояса носит бандаж — грыжа. Теперь я думаю, что многие свои «подвиги» Гришка совершал из чувства противоречия, желая доказать себе и другим, что он может все — вопреки болезни.

Дружить с Гришкой нелегко. Чтобы заслужить его доверие, надо постоянно рисковать. Мне приходилось преодолевать трусость, нерешительность и другие недостатки натуры.

Зато с Гришкой за неделю испытаешь столько приключений, сколько другому за год не выдаться.

Мы подкапывали картошку на приусадебных участках с мрачными табличками: «Осторожно, злая собака!» Но то ли действовали мы сверхосторожно, то ли боевые свойства собак были сознательно преувеличены их владельцами, — нас с Гришкой ни разу не покусали. Между прочим: участков с собаками было два-три. Без собак — сколько угодно. На те, которых сколько угодно, Гришка не ходил.

Однажды мы унесли с совхозного парника тыкву. Тыква была пугающе огромна, с неровными живыми боками, которые, казалось, вот-вот начнут дышать. Мы несли ее в Гришкиной рубашке, почти не таясь. Закатив тыкву под кровать, уселись передохнуть. Я с наслаждением трогал голыми пятками прохладную шершавую кору тыквы. В комнату вошла бригадирша Паня и скомандовала: «А теперь — той же путёй обратно, карякины дети!» Так она ругалась: карякины дети.

Этой тыквой мы Паню сильно обидели, и она нам с Гришкой отомстила.

Ни слова не сказав про тыкву начальнице лагеря Анастасии Власовне, Паня перевела нас с Гришкой в пастухи, чему мы по неопытности обрадовались, почуяв в слове «пастух» дыхание вольной жизни.

Паня привела нас в поле и оставила там. Вокруг бродили десятка два красно-белых телят и черный бычок по имени Ротный. Мы запалили костер, предвкушая печеную картошку.

После полудня Ротный забеспокоился. Он начал скакать по полю, мотая головой и взрывая землю копытами. Сначала он бегал кругами, потом понесся в сторону рощи, а там был овраг — мы испугались, что он переломает ноги. Телята дружно неслись за ним, мы с Гришкой бежали следом, махая палками. У самого оврага Ротный сменил направление и вскоре исчез в кустах на берегу высохшего ручья. Мы его больше не видели, только слышали треск сучьев. Сначала среди кустов мелькали рыжие и белые пятна, потом и телята исчезли. Мы выдохлись и потеряли стадо.

Измученные приплелись на ферму. У ворот стояла Паня, скрестив руки на груди. Молодые работницы привели Ротного, бока у него еще ходили. Паня погладила Ротного и сказала: «К награде представляю».

Гришка молча повернулся и пошел прочь. Я побежал за ним. По спине нас огрели смехом. Это было поражение. Гришка пережил его с достоинством, на следующий день в пастухи мы не пошли, за что нас (в который раз уже!) вызвали на разбор.

На разбор нас с Гришкой вызывали часто. Пошли в запретную зону — разбор. Провели ток в ручку двери — разбор. Попались с ворованной картошкой — разбор. Нашли мину и пытались взорвать ее — страшный разбор...

На всю жизнь запомнил я скамейку, на которую сажали нас, когда разбирали. Скамейка эта еще до войны была изрезана ножами, — может, стояла у входа в клуб. Были там, как водится, имена, фамилии, формулы отношений под знаком плюс, крутые высказывания о жизни. Не скамейка, а сплошной узор. Когда-то ее покрасили черной краской, желая вернуть ей приличный вид, но в некоторые глубокие вырезы краска не попала. Нелегко сидеть на письменах! Анастасия Власовна понимала это. Когда мы просились встать, она говорила: «Сидите, сидите, голубчики...».

«В дни, когда отцы и братья ваши... когда матери и сестры...» Так начинала разбор Анастасия Власовна. Вовка Углов однажды опередил ее. Только нас посадили на скамейку, он провозгласил:

«В дни, когда отцы и братья...» Анастасия Власовна покачала головой: «Раз такие сознательные, морали читать не будем. Два наряда вне очереди — марш на кухню!»

Я запомнил ее старческую молодость, седую прядь, падающую на глаза, морщины в уголках рта, манеру по-мужски держать папиросу, мелкое дрожание пальцев в минуты волнения. Когда она увидела нас с Гришкой около мины, она схватилась за грудь и долго не могла слова произнести.

Самое неприятное для меня в этих разборах было вот что: все понимали, что главный в наших похождениях Гришка, а мы с Вовкой — так, сбоку припека. Ну, ладно, мол, он-то отпетый, а вы, вы как же?!

Такое публичное признание нашей неполноценности было для меня невыносимо. Я не хотел, чтоб меня отделяли от Гришки. Я жаждал равного суда и не получал его.

Гном был маленький, тщедушный. Казалось, он давно должен к кому-то сильному прилепиться, чтобы тот его защищал, охранял...

По приезде его поселили в комнате, которую занимал Ванифатьев с дружками. Но через несколько дней вещевой мешок Гнома вышвырнули в коридор, а следом и его самого.

На шум прибежала вожатая Вера Рюмина.

— Что случилось, Валентинов?

Гном стоял отвернувшись. Тогда Рюмина заглянула в комнату.

— Что тут у вас?

Она говорила строгим голосом, а сама улыбалась. Ей нравился большой вальяжный Ванифатьев.

— Он во сне кричит! Зубами щелкает! Квакает! Лает!.. — закричали ванифатьевцы.

Рюмина махнула рукой — да ну вас! — и обратилась к с а м о м у — мягко:

— Скажи ты, Жора.

Ванифатьев, развалясь на койке, не поворачивая головы, процедил:

— Уберите Гнома. Чокнутый. Орет ночью, спать мешает.

Рюмина с любопытством оглядела Гнома. Он стоял все в той же позе, разглядывая носки своих ботинок.

— Валентинов, — сказала она, — это правда, что ты ребятам спать мешаешь?

Гном посмотрел на нее рассеянно, пожал плечами:

— Не знаю...

В комнате захохотали. Гном сказал:

— Переведите меня, пожалуйста, в другую палату.

Рюмина задумалась. Всюду теснота, комнаты маленькие, койку лишнюю втиснуть некуда.

— Знаешь, Валентинов, — сказала она, — мы подумаем, кого поселить на твое место, а пока, если хочешь, поночуй здесь... — и она указала на дверь, едва приметную в тени чердачной лестницы.

То была нежилая комната. То была вообще какая-то странная комната. Потолок, скошенный неправильной пирамидой. Окно в коридор, вернее, в сени. Свет в комнату попадал, когда наружную дверь открывали. Впрочем, запирали ее только на ночь. Любой из нас переживал бы, попади он в этот чулан. Гном — нет. Он обрадовался, повеселел. Он что-то целый день устраивал в своей конуре, мурлыкал какую-то песенку. Он открыл окно и протер его мокрой тряпкой.

Вечером о переселении узнала Анастасия Власовна. Она отругала Рюмину, да так, что все слышали, и твердым шагом направилась восстанавливать порядок и справедливость.

И вот Анастасия Власовна стоит по одну сторону Гномова окна, а тот — по другую, и между ними происходит разговор:

— Валентинов, немедленно забирай вещи и — назад!

— Не пойду.

— Как это «не пойду»? Я как начальник лагеря...

— Не сердитесь, Анастасия Власовна, не пойду.

— Что это значит, Валентинов?!

Анастасия Власовна не ожидала, что нарвется на такое упрямство. Думала, подействует командирский тон, который обычно действовал безотказно.

— Ты индивидуалист, Валентинов, — обронила она со вздохом.

— Зря вы переживаете, Анастасия Власовна, — сказал Гном, — мне тут хорошо.

— Валентинов! — закричала она. — Да ты понимаешь, что я не имею права тебя здесь держать?! Согласно санитарным нормам! Это ты понимаешь?

— Понимаю, — тихо сказал Гном. — Если что, я скажу, что я сам, а что вы не разрешали...

Анастасия Власовна оглядывается на нас: посмотрите, каков! А?..

Красивый Ванифатьев советует, поводя крутыми плечами:

— Да бросьте вы с ним возиться. Это ж Гном...

— Ва-ни-фать-ев!.. — горячим шепотом выдыхает она ему в лицо собственную его фамилию, и сейчас фамилия эта звучит как выражение такой глубокой человеческой укоризны, что даже Ванифатьева проняло — отвернулся.

Анастасия Власовна восклицает:

— Ах, Валентинов! Ну что ты за человек! Особые условия тебе создать, что ли!..

Последняя фраза вырвалась у нее, как говорится, из сердца и возбудила, ожесточила нас. Мы словно увидели вдруг черту, жирную, резкую: по ту сторону — Гном, а все остальные — по другую. Не скрывая раздражения, мы закричали:

— Да пускай живет! Давай, Гном, в пещеру!..

Анастасия Власовна тут же опомнилась. В сущности, не злая женщина, а главное, человек долга, она устала, у нее свои несчастья, сын пропал без вести — вот уж второй год, как пропал... Она была человеком долга, а кроме того, свято блюла закон педагогического равенства: никого не выделять, ко всем относиться одинаково, а тут она, по-моему, ловила себя на том, что Гном ей неприятен, и от этого страшно досадовала. Непонятен, а потому неприятен. Разумом-то она понимала, что Ванифатьев, с его дурацкой самоуверенностью и барством, — вот уж кто неприятен безусловно! Пожалуй, во сто крат неприятнее Гнома. Но это разумом, а чувствовала она, кажется, другое. Ванифатьев, с его добродушной ухмылкой, распространял вокруг себя атмосферу приятной покладистости, спокойной силы, с которой нельзя не считаться, а этот Гном — она знала его прозвище — и в самом деле Гном: голова втянута в плечи, спина круглится, морщины стариковские на лбу, уши настороженно прижаты, одутловатое лицо, желтые тени под глазами...

— Вот что, Валентинов, у меня много дел, — она старалась говорить как можно мягче, — у меня очень много дел, я не могу здесь с тобой пререкаться. Хорошенько все обдумай и приходи ко мне в кабинет после ужина...

Почему Гном был один? Точнее, почти один. Что означает это почти, я объясню несколько позже.

Сейчас я понимаю: виной тому была блокада. Она его цепко держала и не отпускала. Я знаю таких людей — вот уже больше тридцати лет прошло, а блокада всё не отпускает их...

Мы все тогда ожили, а его она держала цепко ледяными пальцами, не давала головы повернуть в сторону, заставляла его смотреть и смотреть на какие-то одному ему ведомые жестокие картины.

Те, кого она не отпускала, отличались от остальных. Они были замкнуты, малоподвижны, старчески задумчивы и болезненно экономны, вплоть до ожесточенного накопительства. Последняя черта была роковой.

В столовую мы врвались как ураган. Минута — и столы были чистыми. Суп, каша, хлеб — все исчезало мгновенно.

Гном вел себя иначе. Он ел медленно, словно нехотя, растягивая удовольствие. Он отщипывал хлеб микроскопическими крохами и долго пережевывал их, склонив голову, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Уже этим он раздражал всех. Его передразнивали, он делал вид, что не замечает. Когда же на стол приносили тарелки с маленькими кубиками масла и сахарный песок в кружках — чай мы наливали сами, — начиналось священнодействие. Из полевой сумки, которая всегда висела у него на боку — и в поле он с нею не расставался, — Гном доставал две пластмассовые банки. В одну складывал масло, в другую сыпал песок. Потом корочкой хлеба аккуратно стирал масляный след на тарелке. Делал он все это не торопясь, сосредоточенно, ни на кого не обращая внимания. Однажды манипуляции с баночками заметила повариха Дуня.

— Дистрофик несчастный! — закричала она, грозя Гному поварешкой. — Загнуться хочешь!..

Подбежала Рюмина, потом Анастасия Власовна — все кричали, размахивали руками над Гномом. Он отмалчивался. После того случая стал осторожней и открывал свои баночки, когда воспитателей рядом не было.

Теперь о «почти». «Почти» — это Галя Рейкина (Палкина, как ее у нас звали). Рейкина-Палкина относилась к Гному с необычной для ее возраста мрачно-страстной заботливостью. В этом

было что-то материнское, даже старушечье... Нескладная, некрасивая, с вечно нечесанными патлами белых волос, с походкой враскачку, Рейкина была смешна. Рядом с нею Гном обнаруживал весь свой ничтожный росток. Голоса их — один девичий, тонкий (Гнома), другой басовитый, основательный (Рейкиной), — казалось, нарочно звучали рядом, чтобы вызвать улыбку. На это стоило поглядеть — как Рейкина медленно проволакивала вслед за Гномом свои нескладные длинные ноги, как гудела: «Димка, шапку надень, голову напечет!..»

Рейкина единственная звала его по имени, помогала ему выполнить норму в поле, мыла пол в его пещере, стирала Гномово белье. По правде говоря, я сначала думал, что это Гномова старшая сестра, да и все так думали, а когда узнали, что Рейкина не сестра, а просто так, началось веселье. Их дразнили и вместе и порознь: «Жених! Невеста!..» Гном отмалчивался, такая у него была натура. Зато Рейкина вспыхивала как бенгальский огонь: «Невеста? Завидно? Иди-иди, а то рожу расцарапаю!» И угрожающе выдвигала вперед подбородок.

Рейкина себя не жалела, это все знали, а потому боялись с ней связываться. Несколько мальчишек уже ходили по лагерю с украшениями на щеках.

Некоторые звали Рейкину «психичкой» за приступы ярости, которые время от времени бывали у нее.

Всякий нормальный мальчишка давно бы отшил Рейкину. Но Гном не был бы Гномом, поступи он как все. Гном никогда не сердился на Рейкину за ее чрезмерные заботы о нем и сносил безропотно ее покровительство. (Было, правда, одно исключение, о нем я потом скажу.) Гном звал ее Галей, разговаривал с нею без малейшей насмешки и вообще был слишком погружен в свои мысли, чтобы вникать в то, что происходило вокруг.

А исключение было вот какое: когда шли домой с поля, Рейкина всегда порывалась взять у Гнома лопату, лейку, тяпку — ну, что он там нес. И тут Гном оказывал неожиданное сопротивление, которое тогда мне было не очень понятно. Теперь, когда я вспоминаю ту пыльную ухабистую дорогу, которой мы возвращались с полей в лагерь, дорогу, обрамленную репейником, чахлым шиповником и малиной, дорогу с редкими валунами, выкаченными на обочину с поля, — когда я вспоминаю эту дорогу и на ней Гнома, несущего на плече лопату, мне кажется, я его понимаю: это не лопата — это винтовка, флаг. Это, быть может, единственное тогда открытое проявление гордости, которой он вовсе не был обделен.

Рейкина страдала от того, что Гном копил масло и сахар. Я сам слышал, с какой яростью она шипела на него: «Димка, не смей, выкини банки!..» Потом восстала: «Не ешь — и я не буду!» У всех на глазах два дня она отдавала сахар и масло самым слабеньким девчонкам.

Вначале на Гнома это подействовало — он, словно нехотя, намазывал хлеб маслом... Потом, крадучись, вытащил банку...

Рейкина, простив ему слабость, продолжала опекать его с прежней слоновистой настойчивостью.

После случая с миной нас с Гришкой чуть не выгнали. О это многозначительное «чуть»! Сколько раз грозили нам исключением, отправкой в город — сколько раз! Но ни разу угроза эта не была приведена в исполнение. Город был под непрерывными бомбежками и обстрелами, и не для того нас сюда привезли, чтобы вдруг, пусть даже за серьезный проступок, отправить обратно под вражеский огонь. Мы прекрасно понимали символический смысл этой угрозы, но делали вид, что

относимся к ней серьезно, — как будто и мы, и воспитатели наши играли в какую-то странную игру, где все договорились скрывать истинный смысл вещей.

На очередном разборе крайнюю меру заменили более мягкой — нас постановили расселить. Мне приказали перебираться к Гному.

Сейчас я думаю, что воспитатели вовсе не хотели унижить меня переселением в Гномов чулан, тем более что с его легкой руки комната стала вполне обитаемой. После того вечернего разговора с Гномом один на один Анастасия Власовна оставила его в покое.

Я старался представить себе, о чем они там говорили после ужина в кабинете Анастасии Власовны. Но если после этого разговора она позволила себе оставить его в «пещере», если она не применила к нему крутых мер, если не испугалась, что к ней может привязаться неожиданная комиссия, — значит, разговор у них с Гномом был серьезный и важный, и не только для него, но и для нее, старой учительницы, пережившей многие педагогические моды и оставшейся верной здравому смыслу и естественным движениям души.

Гришка считал: покажи характер и никуда не уходи. Надоест — отстанут. И я послушался, но на следующее утро пришла Анастасия Власовна и сказала глухо, в сторону:

— До обеда не переешь — матери напишу.

Когда я переступил порог Гномовой комнаты, увидел его приветливое лицо и услышал такой не мальчишеский мелодичный голос: «А я тебе уже место освободил...» — я даже сплюнул от злости. Нужна мне его забота!

На ком было сорвать раздражение? Конечно, на Гноме. Я и оправдать себя мог легко, если б захотел. Тогда в моих глазах несоответствие Гнома всем нашим мальчишеским понятиям и нормам, его неловкое выпячивание из общего ряда само по себе служило достаточным основанием для обвинения его во всех моих бедах.

— Сарай, — презрительно сказал я, оглядев голые дощатые стены (в других комнатах были хоть старенькие, да обои). — Не видно ни фиги. Ослепнешь тут...

— Разве темно? — искренне удивился Гном. — Нет, сейчас не темно. А вечером свет зажжем, я лампочку хорошую достал.

Он огляделся в своем жилище, как бы приглашая меня познакомиться с ним повнимательнее. Невольно вслед за его взглядом я прошелся по стенам. Там были прибиты картинки из «Огонька» — портреты каких-то героев, фотографии — ястребки в небе, морская пехота идет в атаку, старый чабан в высокой шапке провожает сына на фронт...

Слева от окна в глубокой косой нише, где потолок под углом сходил на нет, стояла Гномова койка, аккуратно прикрытая серым солдатским одеялом со штампом «ноги». Рядом, на стуле — книги.

Светлей всего было у стены, противоположной окну. Я сказал:

— Здесь койку поставлю.

— Здесь, здесь, — заторопился Гном радостно, — тут хорошо, светло!

— Светло! — усмехнулся я и вспомнил: «А я тебе место освободил...» Значит, его койка раньше тут стояла. Я разозлился: — Вот что, Гном, вали обратно, мне подачек не надо.

— Да что ты, что ты! — Гном засуетился, покраснел. — Это так, пока, потом поменяемся, по очереди будем, ладно?..

Он как бы услужливо предлагал лазейку для моего самолюбия — «пока...».

— Ну ладно, если пока, — проворчал я, а сам подумал: «Раз ты дурак, пусть тебе будет хуже...»

У Рейкиной на этот счет было свое мнение. Она ворвалась в комнату («Стучать надо», — сказал я. «Еще чего!» — ответила Рейкина), увидела мою койку на месте Гномовой и зашипела:

— Это еще что? Димка, я его сейчас вышвырну!

Гном подошел к ней и тихо проговорил:

— Не надо, Галя. Видишь, его наказали...

— Исусик несчастный! — закричала Рейкина и хлопнула дверью. Тут же она вернулась: — Рубашку не надевай, я очередь за утюгом заняла!..

— Санчо Панса, — сказал я презрительно, когда она ушла.

— А тебе не нравится Санчо Панса? — серьезно спросил Гном.

Конечно, он мне нравился. Но не мог же я сказать этого Гному. Я выругался — обида душила меня.

Кто-то встал у нашего окна, заслонил свет, крикнул:

— Эй, гномишки, как делишки?!

Вот так. Я презирал Гнома, я был по ту сторону ч е р т ы, с ними, а им уже наплевать на меня, они уже зачислили меня в «гномишки»...

Я взглянул на Гнома и увидел по его лицу (хотя он и прятал глаза), что он все понимает, жалеет меня, боится показать свою жалость и мучается этим...

— Здесь прохладно, — сказал он, — на улице жара, а здесь хорошо, верно?

— А мне наплевать! — заорал я. — Наплевать! Понял? Я в этой яме жить не хочу! И не буду! Понял?..

...Я обиделся на весь мир, и на Гришку в первую очередь. Почему не его, а меня переселили? Почему?!

Обида накатывала волна за волной, и я забывал свои прежние чувства: желание быть на равных с Гришкой, стыд за мою роль помоганца... Теперь в порыве обиды я готов был все валить на Гришку. Со мной поступили несправедливо — так я считал. А Гришка от меня отвернулся — это ясно.

Я мучил себя, представляя нашу светлую комнату с окном на залив, откуда вечером, в темноте, видны были мрачные всполохи огня в стороне, где город.

За Гришкой всюду бегал теперь, забыв свою лень, Вовка Углов. Вовка подмигивал мне при встрече, — дескать, у нас тут такое... Он словно носил за Гришкой мешок его секретов.

«Значит, никакой дружбы не было, — думал я, — просто жили рядом, вот и все...»

Сначала я избегал Гришки, потом не выдержал, подошел к нему. Взгляд его был холоден, безразличен. Мне бы опомниться, уйти, а я сказал что-то вроде: «Чего злишься?» Глупее и унизительнее придумать нельзя!

— Я? Злюсь? — он усмехнулся. — С чего ты взял?

Тут меня понесло:

— Значит, не дружим больше, да?

— С тобой-то?.. Характера у тебя маловато. Приказали — ты и лапки кверху.

— Зато у Вовки характер.

— Вовка солдат. От него больше не требуется.

Я не нашелся, что ответить. В том, что сказал Гришка, была и правда и неправда, как раз в том сочетании, которое ранит больней всего...

Я не спал по ночам, я чуть не плакал, я обдумывал планы мести и тут же отбрасывал их один за другим, потому что Гришка был неподвластен моей мести. И получалось так, что я по-прежнему вымещал свои обиды на том, кто был рядом, кто был слабей меня, — на Гноме.

Когда он хотел читать — я тушил свет. Когда он хотел спать — я зажигал свет и лениво листал какую-нибудь книжку, хотя глаза мои слипались. Когда он закрывал окно — я открывал его. И наоборот.

Особенно распалялся я при свидетелях. Мы были отверженные, с нами не считались. На наше окно садились, заслоня свет, походя кричали: «Гномики, ку-ку!» Гном все терпел, а я кипел от злости. Мне казалось ужасным, ужаснее, чем развал моей дружбы с Гришкой, быть «гномом», ходить в «гномах». Я старался, чтоб все видели, чтоб все слышали, как я презираю Гнома. Чтобы все знали: если мне приходится жить здесь, это еще не значит, что мы с ним кореша. Стоя у окна, я балаганил, я созывал зрителей, я предлагал им вместе поиздеваться над Гномом. «Спешите! — кричал я. — Скорей сюда! Гном в пещере! Последний гном! Спит на хлебных корках!..»

Гном молчал. Меня пугала его неуязвимость. Я ненавидел его за нежелание взорваться, возмутиться, броситься на меня с кулаками.

Какие там кулаки! Он был полон доброжелательства, он хотел общаться, он был рад, что не один теперь...

Говорит мне вечером:

— Как ты думаешь, что с Землей будет?

— Что-о?! — В эту интонацию я вкладываю все пренебрежение к нему, ко всем его вопросам, настоящим и будущим.

— Как что? — волнуется он. — Смотри: воду выкачивают, нефть, уголь, железо берут...

— Ну? — подначиваю я его насмешкой. Он ее не замечает.

— Так ведь пустая когда-нибудь станет. Одна скорлупа останется! Что тогда?

— Дурак ты. Ничего особенного не будет.

— Нет, будет! — Голос его понижается до шепота. — Масса меньше станет!

— Ну, меньше, — соглашаюсь я нехотя.

— Значит, изменится орбита, — говорит Гном, — а если орбита изменится, всем хана. Наступит всеобщий мрак и лед.

— Трепотня!

— Да нет, это серьезно! Очень серьезно! И знаешь, есть выход!

— Какой?

— Надо накачивать пустоты каким-нибудь газом.

— Ай да голова!

— Только вот не знаю каким. Газ взорваться может...

Я издеваюсь над ним, а сам думаю с завистью: «Черт, откуда у него все это в голове?..»

— Куда вы, куда?! Здесь нет ничего! Миленькие, не трогайте! Руки обжег, руки, у-у-у-у, задымились... Пустите меня, ну, пустите, здесь мертвые все, я не хочу, пустите... сахар, сахар, сахар... это не лед, это сахар, кусочек отколи, кусочек...

Это был голос Гнома. Я вскочил, бросился к выключателю, потом к его постели. Свет напугал его. Он замахал руками, прикрыл лицо и забормотал что-то совсем уж невнятное. Я схватил его за плечо:

— Гном! Проснись! Слышишь!

Глаза его открылись — нет, они как бы внезапно появились на лице, где их до того не было... Он ничего не понимал.

— Гном, ты бредил!

Наконец он посмотрел на меня осмысленно:

— Что-то приснилось... Жар, холод...

Я стоял перед ним в майке и трусах, и, хотя ночь была не холодная, меня била дрожь.

— Ну ты, спи, — сказал я, чтобы как-то закончить все это, и пошел к своей койке. Я сел на нее, лечь я боялся, мне казалось, только лягу — опять начнется.

Долго я не спал, прислушивался к дыханию Гнома, и от того, что я был полон этим прислушиванием и ожиданием нового бреда, я все не спал, не спал и только к утру забылся.

Разбудил меня Гном.

— Вставай, завтракать пора. Я на кухне был, сегодня пшенка...

Все это он сообщал мне с извиняющейся улыбкой.

Я отвернулся к стене. И тут же услышал тихий, словно спотыкающийся голос Гнома:

— Ты... ты знаешь...

Я молчал и не поворачивался к нему. Я втянул голову в плечи и держал ее так, сильнее и сильнее напрягаясь. Гном почувствовал всю силу моей ожесточенности и ничего больше не сказал, хотя спиной я чувствовал, чего ему это стоило. Я лежал и тянул пытку. Потом стало больно и тесно в груди. Я судорожно вдохнул воздух, и что-то словно разрешилось во мне. Я повернулся и сказал:

— Не смей больше бредить! А то...

Я говорил в пустую комнату. Гнома не было.

На следующую ночь он снова разговаривал во сне. И еще подряд три ночи. Каждый раз я просыпался, словно что-то подбрасывало меня на койке, вскакивал, бежал по холодным половицам, расталкивал его безжалостно и при свете голы лампочки видел его одутловатое лицо, на котором каждый раз заново вырастали глаза...

Потом я заворачивался в одеяло и сидел, опустив голову в колени. Я ждал, когда это снова начнется, и проклинал всех на свете — Анастасию Власовну, Гнома, Гришку... Я ждал, ждал, но бред не повторялся. Гном спал крепко, всхлипывая иногда, словно захлебываясь слезами.

Утром Гном избегал меня, старательно обходил стороной, заговаривать не пытался, а я делал вид, что не замечаю его.

На четвертую или на пятую ночь я разбудил Гнома и, схватив в охапку одежду и одеяло, выскочил в коридор. В ночной тишине под моими ногами громко скрипели разошедшиеся половицы. Я подкрался к бывшей своей комнате и постучал. Подождав, я постучал еще раз, сильнее. Ни звука. Тогда я ударил ногой в дверь, коротко и зло. Заскрипела койка, зашлепали по полу босые ноги, и за полуоткрывшейся дверью показался заспанный, лохматый Вовка Углов. Он стоял наклонясь вперед, скрестив на плечах худые руки, почесывался. Я шагнул мимо него в комнату.

— Куда, куда? — забормотал Вовка.

Там, где стояла раньше моя койка, спал теперь Коля Бусов. Он спал на животе, раскинув руки и ноги, будто плыл.

— Чего ты? — опять спросил Вовка.

Я и сам не знал чего. Пока я шел сюда, я вроде бы готов был на что-то серьезное решиться... Теперь — этот Коля Бусов, а рядом — очертания Гришкиной кровати и сам он, спокойно спящий на спине, руки за голову...

Нет, эта комната была мне уже чужой. Как и та...

Я вернулся к Гному. У него горел свет. Он сидел на койке и ждал меня. Я видел, что он и обрадовался и растерялся, когда я вошел.

Я постелил постель, лег. Гном спросил:

— Ты спишь?

Я молчал.

— Ты не спишь?

Я молчал, но какая-то неуютность была в этом моем молчании, словно не его я обманывал, а себя, и это было противно.

— Ну? — сказал я наконец.

— Не говори никому, ладно? — быстро сказал Гном. — Я... я не буду больше.

— Чего не будешь? — спросил я, хотя прекрасно знал, о чем он.

— Ну, разговаривать... ночью...

— Ах вот что! — Я захохотал как-то неестественно громко. — «Сахар, сахар! Отколите кусочек! Они все мертвые!..»

— Это правда? Я так говорю? — спросил он тихо.

— А ты что, не знаешь? — удивился я.

— Нет, — просто ответил он.

— Вот оно что... — Я как-то даже растерялся.

— У меня все... в сорок первом... — Гном проглотил слюну, а может и слезы. — У меня все — мама, тетя, сестренки... я не мог сутки дверь открыть... а на лестнице...

А на лестнице — я догадался — на лестнице никого не было, потому что там все умерли.

— Я изрыл ее топором, и сломал, и вышел...

Мы сидели на своих койках и молчали, а ночь медленно превращалась в утро. Потом Гном сказал:

— Ты не думай, я в дружбу не навязываюсь...

— У тебя Рейкина есть, — не удержался я.

— Галя добрая, — сказал он, — только глупая. Лучше глупый, чем злой...

Я копал картошку, а следом шли ребята с ведрами — подбирали. Работали тройками — один копал, двое подбирали и носили. Я услышал хруст и понял, что разрезал картофелину, и тут же увидел разрез — сочащийся, розовый... Мне стало жаль клубня, я откопал его, стараясь не запачкать. Меня кто-то позвал. Я обернулся — Гном. Я сразу понял: что-то с ним случилось. Он был жалкий какой-то, губы дрожали.

— Сумку... Мою сумку не видел?

— Нет. — Я заметил на глазах его слезы. — Ты чего? Найдешь...

— Уже искал. Я повесил на дерево. Они попросили ящик поднести...

— Кто они?

— Борька...

— Куда ж она подевалась? — Я все понял.

— Не знаю...

— Не знаешь! — Я опять разозлился на него. — Дождался, накопитель! — Я вонзил лопату в землю. — Дождался!

— Что я тебе сделал? — спросил Гном. — Что?

Я отвернулся. Но мне хотелось знать, что будет дальше. Я посмотрел через плечо. Гном стоял в конце межи, напротив Борьки, который покачивался, опершись на лопату, и сплевывал себе под ноги. Я не слышал, о чем они говорили, только Борька взял Гнома за курточку, потрянул и отбросил от себя. Гном упал, медленно поднялся, огляделся вокруг... За кустами кто-то хохотнул коротко и замолк, словно рот ему зажали.

Спотыкаясь, Гном побрел к дороге.

...С другого конца поля, перескакивая через кусты картофеля, неслась Рейкина. Она с ходу набросилась на Борьку, схватила его за волосы, опрокинула на землю, стала пинать ногами. Из-за кустов выскочили его дружки, Рейкина размахивала руками, не подпуская к себе мальчишек, а те окружали ее, пританцовывая и гогоча...

Посреди поля на ящике сидел Гришка. Он подначивал:

— Давай, Рейкина! По роже его, по роже! А вы чего, пацаны! Сдрейфили!.. Хватай ее за волосы, ты!..

Рейкина дралась молча, ожесточенно. Потом вдруг ни с того ни с сего остановилась как вкопанная, огляделась растерянно — Гнома искала, что ли — и ее сильно ударили по лицу. Она всхлипнула, закрылась руками, но тут же выпрямилась, схватила лопату, закричала:

— Заразы! Сволочи! Убью!

— Психичка! — закричал Борька.

Мальчишки отскочили, рассыпались. Рейкина бросила лопату и побежала к дороге. Никто за ней не гнался, но бежала она так, словно ее вот-вот догонят и начнут бить.

Я вернулся к своей меже. Стал искать ту картофелину. Наконец нашел. Она обвалялась в земле и больше не блестела.

На дворе около столовой дымилась куча белесого пепла. Пепел был легкий и светлый, шевелился под ветерком. Подошла Вера Рюмина.

— Что случилось с Валентиновым?

— А что? — на всякий случай спросил я.

— Да вот — вытряхнул сено из матрасника, поджег, вещи собрал и — на станцию...

Я рассказал ей, что было в поле, только про Рейкину смолчал.

— А вы что, вступиться не могли?

— Кто мы?

— Ну, ты, Гриша...

— Буду я за нее вступаться!

— За нее? За кого это «за нее»? — Рюмина подозрительно прищурилась.

— Ну, за него...

— Ты же в одной комнате с ним живешь! — воскликнула Рюмина.

— Не живу, а переселили! — огрызнулся я.

Рюмина махнула рукой и пошла со двора.

В комнате на пустой Гномовой койке сидела Рейкина и ревела. Она поглядела на меня с такой ненавистью, что я сразу ушел. Я долго стоял посреди двора и смотрел на живой белый пепел, шевелящийся у моих ног.

Во время обеда Рейкина взяла миску с супом, подошла к Борьке и выплеснула суп ему в лицо. Он дико закричал. По черным его волосам, по рубашке растекалась лапша.

Рейкина убежала. Вечером мы узнали, что она тоже уехала в город.

Гном медленно прошел мимо меня, бережно держа в руке только что купленную пластинку. Костюм на нем был ношенный, но тщательно отутюженный. Из-под коротких брюк виднелись нелепые ярко-зеленые носки и сандалии, детские, с дырочками, которых теперь никто не носит, разве что пенсионеры. Еще я заметил краешек улыбки, обращенной в себя. Полевая сумка елозила по бедру, когда он шел.

Я отодвинулся в тень и спрятал глаза. Я сделал это невольно, когда проходил мимо.

Потом я посмотрел в окно и увидел Гнома уже на улице, рядом с женщиной. Женщина была на голову выше Гнома и шире в плечах. Она несла тяжелые авоськи. Я видел, как упорно Гном пытался отнять у нее одну авоську. Наконец это ему удалось. Женщина недовольно повела плечом, что-то сказала... Потом подбородком дернула — вперед... Он пошел рядом с нею, маленький, в мешковатом костюме...

Я вышел на улицу, догнал их. Женщина купила два эскимо. Потом снова сделала это движение подбородком. Неужели Рейкина?..

Я обошел их быстро, повернулся, пошел навстречу. Да, это была Рейкина. Немолодая, строгая Рейкина, стриженная, ширококостная. В авоське она несла яблоки, горшочки для цветов, длинные кривые огурцы, ярко-красный игрушечный автомат, еще что-то... Гном задумчиво поедал эскимо. Рейкина шла чуть впереди и, как ледокол, расчищала ему путь. Когда она шла, все сторонились или отводили плечо в сторону. Я тоже отвел плечо.

Наша с Волькой борьба

Однажды — в четвертом классе это было, не помню уже, при каких обстоятельствах, — я вдруг полюбил бороться. А у меня был друг — Ким Ольшанский, очень сильный человек. И вот, как только я полюбил бороться, дружба с Кимом потеряла для меня всякий интерес. Когда я смотрел на Кима, я сразу представлял себя на обеих лопатках. Бороться с Кимом не имело никакого смысла.

А раньше я с ним дружил и подчинялся ему во всем, вырезал вместе с ним картинки из книг и журналов, наклеивал их в тетради. Чистых тетрадей нам всегда не хватало, и мы заполняли картинками свои рабочие тетради по русскому и арифметике. Но все это было раньше, до того как я полюбил бороться. Как только я полюбил бороться, я понял, что с Кимом мне больше не дружить.

Был у меня еще один друг. Звали его Ратмир. А фамилия Лях. Мы с ним сидели на одной парте, пока нас не рассадили за вечный смех. Мы вечно смеялись.

У этого Ратмира Ляха был знаменитый отец. В молодости он бежал из царской тюрьмы.

Ратмир был очень хороший друг. Я любил сидеть за столом рядом с его знаменитым отцом, кушать разные восточные сладости и пить из большой пиалы крепкий, подернутый дымкой чай. Мы с Ратмиром славно проводили время. Рассматривали жуткие медицинские книги его матери, играли в карты, фантики... Но все это до тех пор, пока я не полюбил бороться. Как только я полюбил бороться, мне стало неинтересно дружить с Ратмиром — он был маленький, как первоклассник. Я борол его одной левой, да притом опасался, как бы не переломать ему косточки.

И наконец, у меня был еще один друг — Волька, Воля, Вольдемар. Каждый раз, когда мы с ним встречались, мы боролись. Оба нескладные, неловкие, мы пыхтели, шумно ворочались, вокруг падала мебель, если борьба происходила в комнате. И никто никого не побеждал. Силы у нас были равные.

Когда Воля приходил ко мне, мы боролись. Когда я приходил к нему, мы боролись. Мы боролись на диване, на стульях, под столом, в коридоре, в ванной. Мы боролись в Александровском саду, на траве, пока сторож не высвистывал нас оттуда. Мы боролись на асфальте, на снегу, в песке. Мы боролись в трамвае, но там нам сильно мешали. Мы боролись в вестибюле музея Эрмитаж, куда нас приводила историчка Ксения Владимировна, чтобы показать, как было до нашей эры. Мы боролись за партой, пока нас не рассадили. Меня к Ратмиру, а его — к одной девочке. Звали ее Наташа, но сейчас это не имеет значения.

Итак, другие играли в футбол, в шахматы, в лапту. А мы боролись, и нам этого вполне хватало. В короткие промежутки между борьбой мы разговаривали про знаменитых борцов, высмеивали неуклюжие приемчики друг друга, хвастались будущими победами... А еще в промежутках мы ели, чтобы набраться сил для следующей борьбы. Во время борьбы мы многое переломали. Особенно часто ломались всякие статуэтки. Они были на тонких подставках, стояли криво и падали почти что сами.

Домашние не любили нашей с Волькой борьбы и, чуть что, растаскивали нас в стороны, как будто мы дрались.

Так мы дружили и боролись, не в пример другим, без всяких ссор, никто никого не побарывал — вечная ничья. Каждый день мы вставали с мыслью: «Сегодня!» Каждый вечер ложились с надеждой: «Завтра!» Это была прекрасная дружба. До сих пор мне радостно вспоминать о ней, даже в носу горько. Я так и вижу: ковер в Волькиной комнате, на ковре мы катаемся, а еще я вижу Волькин глаз, тот, который так не похож на другой, я уж теперь не помню — правый или левый, да это и неважно. Важно другое: он выделялся своим зеленым оттенком, в то время как другой глаз был просто карим. Когда во время борьбы мне случалось заглянуть в этот зеленый Волькин глаз, он казался странно равнодушным. Весь Волька боролся, кроме этого глаза...

Мы не отступали, не хитрили, не изворачивались. Мы боролись без обмана, а когда изнемогали и один из нас хрипел: «Мир!» — другой тотчас разжимал руки.

Так мы дружили и боролись, пока не началась война. А как только она началась, все стало иным. Вся жизнь.

Вольку эвакуировали куда-то в Сибирь. Я остался в Ленинграде. Потом блокада, голод...

В конце войны Волька вернулся. Я встретил его около школы. Оба мы опешили. Да и было от чего: мы так изменились! На три с лишним года изменились!

Знаете, кто стоял передо мной? Передо мной стоял гигант, красавец, атлет с мягкой челочкой наискосок, в гимнастерке под тугим желтым ремнем. Ворот гимнастерки распахнут, а там виднеется уголок застиранной тельняшки. Тонкая талия поскрипывает, а ногам, наверно, так хорошо, так просторно в настоящих матросских клешах!

А знаете, кто стоял перед ним? Дистрофик, жердяй, чучело! И на мне тоже была гимнастерка, братнина, но видели бы вы, как болталась она на моих костлявых плечах! А ноги... Ноги мои обтягивала знаменитая «американская помощь» с молнией на ширинке. «Американская помощь», слишком узкая и чересчур короткая, так что икры видны!

Маленькое отступление: «американская помощь» — это ношенная, но еще достаточно крепкая одежда, которую во время войны присылали нам из Штатов. Попадались иногда прекрасные экземпляры. Один мальчик из нашей школы получил кожаную куртку на байковой подкладке. Подкладка пристегивалась и отстегивалась. Этот мальчик со своим братом носили по очереди: один — куртку, другой — подкладку.

...Волька, Воля, Вольдемар.

Вольдемар стоит передо мной и тонко улыбается, глядя на мои штаны. А я смотрю на него. Я не могу поверить, что человек так изменился. Он задает какие-то вопросы, я отвечаю.

— Ким здесь?

— Да.

— Наташа?

— Приехала.

— Ратмир?

— Нет.

Но думаю я в это время о другом. Я думаю: «Если мы станем бороться, он тут же бросит меня на обе лопатки, и ему станет скучно со мной. Да и бросать не надо. Достаточно поглядеть на меня и мысленно бросить...»

Я спрашиваю его:

— Вовку помнишь?

А сам думаю: «Помнишь хоть, как боролись?» Он говорит:

— Вовку? Которого? Семенова или Кузьмина?

Верно, и такой и такой были. Помнит. Значит, и про борьбу нашу помнит. И думает, конечно: «Плюнь — упадет...»

Я говорю:

— Пока...

Он тоже говорит:

— Пока...

Я понимаю: если сейчас мы разойдемся — все. Мы и так уже почти чужие. Три с лишним года прошло. К тому же он такой высокий...

Я пересилил себя, бросил думать про свою одежду и прочее и говорю:

— Волька!

Он встрепенулся. Я встал в позу борца. Правая нога вперед, левая назад и чуть в сторону. Руки настороже. Выбираю момент.

— А-ха-ха-ха! — кричит Волька. — Але-гоп!

...Я ничего не понимаю, я вишу в воздухе, вижу небо, кроны деревьев, косую школьную стену и Волькину хохочущую рожу над собой. Вы подумайте, он держит меня на руках! Он хохочет! Он подбрасывает меня в воздух! И хохочет! Он ловит меня! И снова хохочет!

— Волька, иди к черту!

Хохочет. А тот глаз — зеленый — не хохочет. Тот глаз печальный.

— Волька, отпусти!

Он ставит меня на землю. Протягивает руку. Рот до ушей. Какой же я дурак был, когда думал о нем так плохо! Вот он говорит:

— Ты с кем сидишь?

— С парнем с одним.

- Скажи ему, чтоб проваливал.
- Он не слушается.
- Я его поборю, — говорит Волька, — пошли.

Белая дверь в актовый зал

В конце школьного коридора — большая двустворчатая дверь. Молчаливая, ярко-белая, она вечно заперта, а на высоте, недоступной для первоклассника, укреплена на двух блестящих винтах синяя стеклянная табличка: «АКТОВЫЙ ЗАЛ».

Об эту дверь разбивается волна перемены. Набежит, ударится со всей силой и отхлынет, а дверь — непобедимой громадиной стоит себе, не шелохнется.

Первоклассники, точно головастики в пруду, кишмя кишат в длинном коридоре, такие одинаковые в своих синих сатиновых халатиках и толстовках. Над сатиновым морем, словно маяки, возвышаются учителя. Их задача, чтобы все двигались прямо, по фарватеру, по часовой стрелке, конечно, и чтобы при этом — никакой свалки, драки, беготни.

Первоклассник устроен просто. Он хочет туда, куда его не пускают. В том числе и в актовый зал. Даже к двери в актовый зал его не подпускают. И поэтому он туда все время стремится.

И вот какая придумана у первоклассников игра. Наперегонки, через весь коридор, сквозь плотную толпу прорваться. В пыли, в поту, чуть дыша, добежать до нее, до желанной, до большой белой двери. Первым повиснуть обеими руками на массивной круглой блестящей медной ручке.

Вот радость!

А сколько препятствий на пути к ней! Одному подставят ножку, другой застрянет в густой толпе, как рыбешка в мелкаячеистой сети, третьего остановит цепкая рука дежурного учителя...

Ну, а если добежал, ухватился и повис, оглашая коридор победным криком, думаете — всё? А сколько таких же бежит следом, боже ты мой! И тут начинается самое драматическое — борьба за медную ручку, за то, чтобы на ней повисеть. Ах, какая тут куча, какой ком катается около заветной двери, как он пытит, как гогочет, как ревет! И тогда все учителя, сколько их есть в длинном коридоре, бросаются в ту сторону, разгребая себе руками дорогу. Вот они добираются наконец и в четыре, в шесть, в восемь рук, пытая, негодую, багровея от натуги, разбирают, растягивают, раздирают плотно сросшийся, сбившийся, сцепившийся ком.

А его, между прочим, и трогать не надо. Он сам разлетится в стороны, взорвется, как бомба, и осколков не соберешь — только дай срок. Как затрезвонит — сначала на первом этаже, а потом все выше, выше — неистовый школьный звонок, этот ком точно ветром сдует! А на полу, у двери в актовый зал, останется сиротливая чья-нибудь пуговица, вырванная с мясом, — вот вам и доказательство, что безобразие все-таки имело место. Подымайте теперь эту пуговицу и идите с нею по классам (первый «а», первый «б», первый «в», первый «г», первый «д»), идите искать того, чья она, пуговица...

Вы их сразу увидите — потных, жарких, лохматых, с шальными глазами, с потеками грязи на лице. Их отличает от всех остальных выражение безудержного счастья, упоения борьбой за большую медную ручку вечно запертой двери в актовЫй зал.

Сейчас их будут стыдить, ставить в угол, отправлять умываться, врасплох зададут вопросы, потребуют дневник, но наступит перемена — и они снова побегут к заветной двери и снова сплетутся в яростный ком.

Я это знаю, потому что я сам первоклассник. Я сам все это изведal. Я знаю, как вкусна после перемены холодная вода из-под крана, с таким ржавым железным привкусом. Откроешь кран и — боком-боком под него, и глотать-глотать, не замечая, как стекает по подбородку, на рубашку, за шиворот... А потом — намочить стриженую голову. Сразу станет легче.

...Я первоклассник, и мне не дает покою дверь в актовЫй зал. Я никогда не видел ее открытой. Слова «актовЫй зал» звучат для меня: «А-а-а-актовЫй зал!» Певец делает рот колечком: «А-а-а-актовЫй зал!..» И круглые, блестящие букoвки, как мыльные пузыри, дрожат в воздухе.

Нет, кое-что мы все-таки знаем про этот актовЫй зал. У Жоры Венчика брат — шестиклассник, и он там бывал. На вопросы: «Что? как?» — он отвечает: «Окна — во! Потолок — во!». Так что кое-что мы знаем, но этого «кое-что» так мало, что лучше совсем его забыть и придумать все самому, с начала до конца. Я и придумываю. Я придумываю так, что за большой белой дверью — если ее распахнуть — начнется дорога, такая длинная-длинная солнечная дорога, исполосованная теньями, вроде как на даче в Мельничном Ручье, дорога, где так сильно пахнет к вечеру расплавленной за день смолой... Только моя дорога длиннее, гораздо длиннее, и по ней можно бежать, бежать — без конца.

И вот наступает этот день. Как всегда в таких случаях — неожиданный. Он и должен начаться плохо, так плохо, чтобы казалось, будто ничего хорошего сегодня произойти уже не может. И тогда то, что все-таки произойдет, произойдет вопреки всему и будет втройне радостью, вчетверне чудом.

На второй перемене я три раза попадаю на глаза жилистой остроплечей физкультурнице в полосатой футболке — черная-белая-черная-белая... Физкультурница хватает меня за плечо цепкими пальцами. Мне больно. От нее головокружительно пахнет табаком и физкультурной раздевалкой. Я испуганно смотрю в ее глаза цвета дождевой тучи, обрамленные короткими черными прямыми волосами. Я вижу, как быстро-быстро движутся ее крепкие обветренные губы, как вздувается на шее голубая жилка. Наконец из коридорного гула вырывается:

— Бегать по рекреации!.. Категорически!.. Фамилия?..

Я кричу ей фамилию, а вокруг мелькают румяные рожи моих одноклассников. Они улыбаются, они заглядывают в глаза ей, мне и носятся вокруг нас в каком-то безумном танце.

Физкультурница не слышит меня. И немудрено. Гул такой, что в пору разговаривать на пальцах. Тогда она наклоняется и показывает на свое ухо. Я подымаюсь на цыпочки и не дыша произношу свою фамилию в розовое учительское ухо с малюсенькой дырочкой от серьги. И ужасная мысль: «Кушу!» — мелькает у меня в это мгновение.

— Запомнил? Рекреация! Бегать нельзя!

Длинным желтым пальцем она показывает пределы, в которых я могу двигаться. Я киваю. Она выпускает мое плечо, и словно пружина освобождается — я отлетаю прочь! И тотчас с размаху лечу на пол. Кто-то громко плачет рядом. Сбил с ног. Мне и самому больно, но прохладиться некогда, удрать бы скорей. Я барахтаюсь в чьих-то ногах, вскакиваю, пытаюсь бежать и снова — эх, не повезло! — снова чувствую на плече твердые, как железо, пальцы.

— Опять бегаешь по рекреации!.. — Она называет мою фамилию. — Девочку с ног сбил!.. — Она называет мою фамилию. — Видишь, девочка плачет?.. Идем к завучу!.. — И она еще раз называет мою фамилию.

Я не вижу никакой девочки. Я вообще ничего не вижу. Все как в тумане. Слезы брызжут из глаз. Ужас охватывает меня.

— Я больше не буду, не буду, не буду!.. — Кажется, это мой голос — отвратительный, жалкий... А вокруг по-прежнему беснуются первоклассники. Они кривляются, передразнивают меня, физкультурницу. «Не буду! Не буду! Не буду!..»

Физкультурница неумолима. Она ведет меня сквозь туман, направляя властной рукой. Нет-нет, все что угодно, только не завуч!..

Звонок. Спасительный звонок, как порыв свежего ветра, уносит и туман, и жесткую руку с плеча, и меня самого уносит. Подхваченный сильным потоком, я лечу по коридору, врываюсь в класс, бахаюсь за парту. Все.

Нет, не все. Тихая, легкая наша Людмила Петровна, плывущая по классу, будто ладья, с пышной русой косой через плечо, самая красивая и самая молодая в школе, — насупившись, смотрит на меня. И по тому, как движутся ее густые брови, как морщится ее гладкий высокий лоб, я понимаю: на щеках моих — черные потеки, ворот рубахи распахнут, верхней пуговицы нет, дышу я, как паровоз, и к уроку у меня ничего не готово.

Людмила Петровна смотрит с жалостью и досадой.

— Иди умойся.

Я покорно иду из класса и думаю о том, что жизнь моя станет теперь невыносимой, потому что я вынужден скрываться от физкультурницы, а куда скроешься — завтра ее урок! Ах, что там, скрывайся не скрывайся, фамилию мою она знает, и теперь жди самого худого: на следующем уроке откроется дверь, войдет завуч, все встанут, и только один я буду знать, зачем он вошел...

У нашего завуча очень трудное имя-отчество. Такое трудное, что нам его говорили по складам, и писали на доске, и снова говорили, а мы все равно не запомнили. Не то Шухнарьян Шухнарьянович, не то Забельзан Забельзанович, не то Зангезур Зангезурович, не то Занзибар Занзибарович... Нет, Занзибар — это остров. А впрочем... Одно я помню твердо: имя и отчество звучат одинаково.

Ну вот, назовет он меня по фамилии, а я? Как я назову его, если понадобится? А ведь может понадобится. И я уже слышу: «Ты что, такой-то, не знаешь, как зовут завуча? Нет, такой-то, этого я не потерплю. Пускай придут твои родители и...» Вот тут фантазии моей не хватает. И... И... Что «и»? Что-нибудь худое, конечно.

Надо же, чтоб так не повезло! Чтоб из двух сотен первоклассников именно ты попался. Чтоб из всей этой толпы, где чувствуешь себя незаметным, а потому и неуязвимым, выудили именно тебя...

И по дороге в уборную, и под краном, из которого хлещет ледяная, пахнущая хлоркой вода, я все пытаюсь вспомнить: Курагор Курагорович?.. Брамапут Брамапутович?.. Нет, не то. Помню только: странное, неслыханное, диковинное... Вода попадает мне за ворот, я вздрагиваю, гогочу, и голос мой гудит звонко и кафельно, и отчею-то становится легче. Даже веселей.

Встряхивая мокрой головой, шагаю обратно. Коридор — рекреация! — лежит передо мной непривычно тихий и пустынный. Только далеко где-то барабан, что ли: тра-та-та-та... И еще: длинь-длиннь-длиннь... Непонятно. Длиннь-длиннь...

Я медленно взмахиваю крыльями и бесшумно лечу над коридором, отдыхающим от сотен ног, над истертым, истоптанным паркетом, лечу, вытягиваю клюв и гортанно кричу: «Ре-кре-ация!.. Ре-кре-ация!..» Разумеется, я кричу про себя, но с большей охотой я кричал бы вслух, тогда получился бы настоящий ворон. Я подлетаю к самой двери в актовЫй зал, дотрагиваюсь до нее клювом, цепляюсь когтями за медную ручку и повисаю на ней...

Длиннь-длиннь-длиннь... Совсем рядом. Я упираюсь ногой в другую створку двери и... плыву. Плавно, медленно. Это невероятно, невозможно, неправильно — как хотите, — но дверь движется, и я плыву на ней! Без скрипа, без стука она отворяется наполовину и замирает. Я отпускаю ручку и робко, с бьющимся сердцем, заглядываю в зал.

Первое ощущение — ослеплен! Жмурюсь сильно-сильно, так, что становится жарко глазам, а внутри глаз мелькают фиолетовые зайчики. Открываю глаза. Свет. Огромное белое пространство, полное яркого солнечного света. Такого густого, что кажется, его можно мять в руках, и лепить из него тугие желтые шары, и кидать их вверх — вот так! Вот так! Вот так!..

Длиннь-длиннь-длиннь... Я вижу широкую сцену, а на ней — кружком сидят ребята в белых рубашках, в красных галстуках. Четверо... Нет, пятеро. А вот и шестой — спиной ко мне.

У одного труба в руках. Другой с барабаном. Третий держит мандолину. Четвертый — большие медные тарелки. Пятый — длинь-длиннь-длиннь — ударяет деревянными молоточками по металлическим пластинам. Это ксилофон, я знаю. А шестой... Шестой подымает палочку.

Оркестр!..

Подхожу ближе, на цыпочках, но паркетина встрескивает под ногой. Дирижер резко, через плечо оборачивается, и я вижу девятиклассника Мишу Гуревича — мелкокудрого, белозубого, верхний ряд зубов у него кривой и теснится, один лезет вперед другого, словно их там больше выросло, чем положено, и места им не хватает. Миша смотрит на меня, приоткрыв рот в улыбке, и зубы его сверкают, а короткие курчавые волосы дымятся от солнца. Я улыбаюсь в ответ, хотя знаю: улыбка не ко мне, она появилась раньше, чем я вошел.

Пауза. Миша смотрит на меня. Я улыбаюсь невпопад. Музыканты тихо пробуют свои инструменты. Бом-бом-бом... Тра-та-тата. Длиннь-длиннь-длиннь... Тэн-нь!..

Кончилась пауза. Миша отворачивается и взмахивает палочкой.

Никто не знает первоклассника, никто не хочет его знать, никого он не интересует, зато первоклассник знает многих, а интересуется его — всё. Первоклассник знает Мишу Гуревича — председателя совета дружины, дирижера шумового оркестра, чемпиона школы по шахматам. Первоклассник, где бы ни встретил он Мишу, проводит его влюбленными глазами. Но что Мише Гуревичу до какого-то гологолового, вечно шныряющего под ногами, хрипло орущего, сопливого первыша!..

Миша взмахивает палочкой. И в бряке, стуке, звяке, звоне я сразу угадываю: «Братишка наш Буденный, с нами весь народ...» Я знаю эту песню! «Приказ голов не вешать и глядеть вперед...» Трубач замечательно ведет мелодию, встряхивая белой челкой! «И с нами Ворошилов, первый красный офицер...» А мандолина, мандолина вторит напряженной дрожью... »Сумеем кровь пролить за СССР!..»

Песня свободно раскатывается по залу, уходит вверх, к белому лепному потолку, где сверкает огромная хрустальная люстра, а я всей грудью вдыхаю какой-то особенный, легкий, бегучий воздух актового зала. Высокие овальные окна нижнего ряда закрыты. Верхние окна, словно иллюминаторы, круглые. Один иллюминатор распахнут. И вот я своими глазами вижу, как в этот иллюминатор влетает птица и, сделав круг над залом, садится на люстру...

Разве такое забудешь?

Разве утерпишь, чтоб не рассказать кому-нибудь?

Я рассказываю про все про это Жоре Венчику.

А надо знать Жору Венчика. Надо видеть его высокие алые щеки, этикие пышные булочки, которые почти прикрывают карие Жорины глаза, ярко поблескивающие из-за красных горюшек, покрытых белым пушком.

Повторяю, надо знать Жору Венчика. Он все время бежит, кипит неистово. Он и за партией бежит. На бегу Жора успевает читать, и читает все подряд, и каждый день врывается в класс, вскакивает на парту и кидает нам, как подарок, новое удивительное слово. «Кэб! — кричит Жора. — Эшафот! — кричит Жора. — Кузина!»

Я не слышал, чтоб у кого-нибудь эти незнакомые слова звучали так прекрасно, звонко, радостно, как у Жоры. Жора наслаждается словом — его рокотом, треском, шипом, свистом. Он не гусарит — вот, мол, что я знаю. «Корпия! — кричит Жора. — Дельта!.. Вассал!..» И красивые эти слова открывают классное утро. Жора настраивает утро, как настраивают роаль.

И вот мы с Жорой Венчиком — после уроков, когда коридор пуст и все уже в раздевалке, а мы благополучно отсиделись в классном шкафу, — мы с Жорой открываем дверь в актовый зал. Мы открываем ее вместе, вдвоем, мы разом тянем за медную ручку и вместе, тесно прижавшись друг к другу, входим...

Никого. Оркестр ушел, оставив на сцене сдвинутые в кружок стулья. И кажется, будто они, степенно поскрипывая, обсуждают в безлюдной тиши всякие свои важные вопросы. Когда вернутся музыканты, какой замечательный дирижер Миша Гуревич и какая будет завтра погода...

Жора Венчик вспрыгивает на сцену. Я за ним. Жора надувает и без того круглые щеки. «Во!..» И делает руками широкий круг.

Жорино «во!» взлетает к потолку, поселяется ненадолго в блестящих висюльках люстры и падает легким звоном вниз, туда, где двумя сомкнутыми колоннами по залу шагают стулья, а между ними, в проходе, простерся широкий, словно улица, красный ковер.

«Во!» — швыряет Жора на всю длину зала, и это «о-о-о!» летит, точно обруч от серсо.

Жора сверкает глазками, делает стойку, возвращается на ноги, хлопает в ладоши — кр-рак! — будто ореховая скорлупа лопнула — и кричит во всю ширь великолепного зала: «Кэб!» Точно копье брошено в цепь. «Кэб!» Пауза. Наслаждение, которого не передашь словами. Зал возвращает нам тысячу копий! «Эшафот!» Ф-о-от... Будто тысяча кораблей разом покидает порт. «Кузина!» Кто-то мрачный гулко зовет Зину...

А если вместе? Вот так: «Гурман!.. Лафет!.. Маэстро!.. Эскулап!»

Особенно здорово, когда посылаешь одно слово вдогонку другому. Тогда они сталкиваются где-то в центре зала, раскалываются на части, а потом слепляются как попало, странно, диковинно, ни на что не похоже...

А дальше, в одно неуловимое мгновение, мы с Жорой кричим: «Алебарда!!!» В дальнем левом углу зала внезапно возникает маленькая дверца. Оттуда появляется человек. Жора Венчик исчезает. Непостижимым образом, как в мультфильме. Вжик — и нету!..

И вот я стою один на сцене, на самом ее краю, и уже не слышу, как возвращается ко мне «алебарда». Взгляд мой и слух мой прикованы к человеку, который ступил на красный ковер и чуть вразвалку, мягко, неторопливо приближается ко мне. И сначала я догадываюсь, а потом отчетливо вижу: з а в у ч! И хотя у меня еще достаточно времени, чтоб убежать, и, конечно, он меня не догонит, и тем более не может узнать меня, раз он меня не знает, — я не двигаюсь с места, потому что ноги мои приросли к полу. Все ближе и ближе подходит седой человек с горячими, навывкате глазами.

— Здравствуй, — говорит он мне. — Почему не отвечаешь? — говорит он мне. — Э, да у тебя язык отнялся, бедняга! Неужели я такой страшный... — Он вытягивает нижнюю губу, в раздумье покачивает головой, прикрывает глаза выпуклыми желтыми веками.

Я открываю рот, я хочу поздороваться, я очень хочу поздороваться, но со мной что-то случилось, — наверно, и правда язык отнялся, и, представив себе этот кошмар, я немею окончательно.

Завуч крепко проводит рукой по лицу сверху вниз, как делают взрослые, чтобы снять усталость, и я вижу, что рука у него тоже седая.

— У тебя звонкий голос, — говорит завуч, — очень звонкий. Я услышал его во-он там. — Он показывает пальцем себе через плечо. — Куда же девался твой звонкий голос? Мне показалось или ты пел? Конечно, пел. Иначе зачем залезать на сцену. Скажи: ты пел? Ну, ясно, по лицу вижу — пел. Спой-ка мне что-нибудь...

Бедная моя голова совсем кругом пошла!

А завуч садится на стул в первом ряду, прямо напротив меня, устраивается поудобнее, кладет ногу на ногу и, покачивая большим черным ботинком, ждет.

Мы молчим. Долго молчим. Я — втянув голову в плечи. Он — устало полуприкрыв веки. Молчание накапливается, как гроза, и слезы уже вскипают где-то за ушами и вот-вот брызнут прямо в завуча. А где-то — но где? — притаился Жора Венчик, ему хоть бы что. И над всеми над нами — холодный, как зимнее небо, равнодушный актовый зал.

Завуч качает головой.

— Ай-я-яй, ну как тебе не совестно. Завуч, почтенный человек, седая голова, десять минут ждет твоей песни, а ты...

Я слизываю языком первую слезу. Если он видит по моему лицу, что я пел, так почему он не видит, как я сейчас мучаюсь! Ведь у меня язык отнялся!

— Ну ладно, — говорит завуч, — я понимаю, это бывает. — Он тяжело подымается. — Если ты захочешь поговорить со мной, приходи в кабинет. В любое время приходи. Ты только скажи: «Я тот мальчик, который пел один в актовом зале и которого ждет Исидор Исидорович». И тебя сразу пропустят. Только не забудь: Исидор Исидорович. А то многие забывают... Ну, а я уж тебя не забуду. Не каждый день встречаешь человека, который поет один в таком зале. Ты первоклассник? — Я кивнул. — Первоклассник... — Завуч вздыхает. — Ученики с годами как-то глупеют, а первоклассники — они умные люди...

Завуч уходит в ту же дверь, из которой появился. Уходит, ни разу не обернувшись, так и не сказав двух слов, которых я безропотно ждал: «Немедленно вон!» Он думает, что я пел. Если б он знал, что я просто кричал!..

Откуда-то раздается голос Жоры Венчика: «Ушел, да?» Я оглядываюсь, смотрю под ноги. Рядом — какой-то деревянный козырек. Оттуда выглядывает Жорина голова. «Суфлер!» — вкусно произносит Жора, и блестящие его глазки вспыхивают еще ярче.

И вот я, взрослый человек, издали гляжу на себя, первоклассника. Мне уже порядочно лет, и я кое-что понимаю теперь из того, чего раньше совсем не понимал. Я понимаю, что когда-то сделал большую, очень большую глупость, непоправимую ошибку — не пошел к Исидору Исидоровичу. Ни завтра, ни через день, никогда.

Я ведь думал как: «Хитрый, заманивает...» Кабинет завуча представлялся мне камерой пыток. Заманивает... »Приходи, поговорим...» Э, меня не обманешь! Нашли дурака! Чтоб сам, своей волей к нему в кабинет? Да где это слыхано!..

К сожалению, я так был устроен в то время, что не мог поверить завучу. Я не верил в серьезность его приглашения. Я не верил, что взрослый может всерьез говорить с мальчишкой. Что он всерьез хочет с ним говорить.

Сколько раз потом, сталкиваясь с разными людьми, я незаметно вглядывался в них, пытаюсь разгадать одну и ту же тайну: шутит или всерьез? Боялся пропустить, упустить того, кто всерьез. Люди не так уж часто относятся друг к другу всерьез. Чаще — в шутку, как это ни странно.

Все это я понял не сразу, и, наверно, не понял бы так резко, не случись еще одна встреча с актовым залом — последняя.

...Шла война. И перешагнула уже через первую свою, самую страшную зиму. Мы с мамой остались вдвоем. Мама работала, а в свободное время с концертной бригадой медработников выступала в

госпиталях города — пела. Она и меня брала с собой, потому что после концерта артистов всегда кормили. А чтобы никто не сказал и даже думать не посмел, что я даром съедаю свой обед, моя щепетильная мама заставила меня выучить несколько песен, упростила нашего аккомпаниатора, слепого баяниста дядю Васю, прорепетировать со мной и добилась, что меня включили в бригаду.

Я понимаю, что маленький худенький мальчик, поющий «Буря мглою небо кроет...», или «Ты жива еще, моя старушка...», или «Гремя огнем, сверкая блеском стали...», — что этот мальчик привлекал раненых бойцов не пением, а просто всем своим несчастным блокадным обличем. Глядели на него и вспоминали своих...

В один из пронзительно-ветреных весенних дней мы пришли в большой госпиталь, размещенный в моей старой школе. Я открыл школьную дверь, которую не открывал уже год, и очутился в вестибюле, которого год уже не видел. По кафельному полу стучали подковками сапоги. Инвалиды тяжело проносили между костылями свое короткое теперь тело...

Нас провели через канцелярию и попросили обождать в кабинете главного врача. Нас — это маму, меня, дядю Васю, пианистку Валецкую и чтицу Клавдию Костомарову, похожую на мужчину в своем пиджаке с ватными плечами.

На двери кабинета бумажка: «Главный врач», а выше — синяя стеклянная табличка на двух блестящих винтах: «Завуч».

Мы вошли. В кабинете никого. Длинный стол на фигурных ножках. Черный диван с высокой прямой спинкой и полочкой наверху. Портрет Ленина между окон. Бронзовая фигурка дискобола под стеклянным колпаком. Грамоты. Политическая карта Европы.

Я подошел к столу. Под толстым стеклом — расписание уроков на 1940/41 учебный год. Я нашел свой класс, вспомнил, что сегодня вторник. Что же у нас было тогда во вторник? Чтение, письмо, арифметика, физкультура... А на самом уголке стола — так, что краешек бумаги торчит из-под стекла и можно потянуть и вытащить, — записка. Четким, острым, крупным почерком: «Варвара Николаевна! Если задержусь в военкомате, начинайте педсовет без меня. И. Шахметдинов». Исидор Исидорович Шахметдинов — вот как его звали...

И еще, последнее. Список выпускников-добровольцев. Алиев Рустам, Воробейчев Иван, Гаврилов Сергей, Гуревич Михаил и много-много еще фамилий. Школа у нас большая, самая большая в районе. Выпускников было много. Листок согнут, и там, на обороте, тоже, наверно, фамилии.

Открылась дверь. На пороге — молодой, бритоголовый. Белый халат поверх гимнастерки. Подошел к столу, взял меня за плечи.

— Интересуешься?

Моя мама:

— Он в этой школе учился, товарищ главврач...

Главный врач кивнул и обвел рукой кабинет.

— Вот, — сказал он, — мы решили, пускай все останется, как было. Кончится война, придет старый хозяин — ему будет приятно, что все по-прежнему. Верно?..

Женщины закивали и с подчеркнутой серьезностью стали разглядывать кабинет, словно это был какой-нибудь музей. Однако все молчали, и в затянувшемся этом молчании я почувствовал общую тревогу, неуверенность и страх за тех, кто неизвестно, вернется ли в старые свои стены.

Бритоголовый решительно разрядил молчание:

— Ну, пошли.

...Мы с мамой поднялись на сцену. Дядя Вася уже сидел там, трогая лады. Актный зал! Такой, как прежде, только окна крест-накрест заклеены бумагой, а между ними, по стенам — военные плакаты.

— Сколько их! — тихо сказала мама, глядя в зал, на раненых. Свободных стульев не было. Некоторые сидели на полу. Другие лежали в проходе на парусиновых раскладушках, повернув к нам свои большие белые лица.

Мама запела «Дивлюсь я на небо». Она любила эту песню и часто пела ее. А тут получилось вот что.

Посреди песни один раненый в первом ряду с перевязанной, будто в чалме, головой согнулся весь, застонал, закашлял, потом откинул голову и стал сползать со стула.

Мама замолчала. Оборвав песню на полузвуче, она стояла такая растерянная, что я даже не мог смотреть на нее. В зале возникло движение, раненого в чалме бережно взяли под руки и повели, а потом подхватили и вынесли из зала. В рядах захлопали, чтобы ободрить маму, но с ней что-то случилось — она заплакала. Раненые кивали ей ласково — пой, мол, ничего... А она не могла справиться с собой и закрыла лицо руками. Дядя Вася тревожно повернул к ней свою большую стриженую голову и смотрел, да, смотрел на маму своими невидящими глазами, пытаясь понять, что произошло. А пальцы его бесшумно бегали по клавишам.

Раздался резкий хлопок. Под напором сильного ветра распахнулось окно-иллюминатор, и ветер — резкий, влажный — ударил по залу. Люстра качнулась, где-то хлопнула форточка, все зашевелились, заговорили... А я сразу вспомнил ту маленькую птицу, как она влетела тогда в зал через окошко-иллюминатор и, описав круг, уселась на хрустальную люстру. И сразу зашевелился во мне весь тот удивительный день, когда впервые отворилась вечно запертая дверь в актный зал...

Мама всхлипнула рядом. Дядя Вася тронул меня за рукав:

— Давай выручай мать. Чего споешь?

— «Братишка наш Буденный», — сказал я. Дядя Вася кивнул.

Не оглядываясь на маму, глазами — в потолок, весь во власти непонятого возбуждения, я запел:

— «Братишка наш Буденный, с нами весь народ, приказ голов не вешать и глядеть вперед...»

После каждого куплета я шумно набирал воздух, я захлебывался песней и не слышал того, что пел. И только когда песня зазвучала неожиданно громко, я понял, что ее подхватили. И справа, и слева, и у самой сцены.

— «Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом...»

Через два месяца в актовый зал попала бомба. Случилось это ночью. Бомба пробила крышу, чердачные перекрытия и взорвалась в центре зала.

Я узнал об этом днем и скорей пошел посмотреть, что со школой. Я прошел по улице, стрелой бегущей к Адмиралтейству, свернул за угол — раньше здесь был овощной магазин, а теперь узкие глаза бойниц вглядывались в перекресток — и остановился напротив школы.

Стены были крепкие. Они уцелели. Взрывная волна рванулась в окна, и теперь на их месте зияли черные провалы. Ветер порывами гнал оттуда мелкую пыль, щекочущую ноздри. Мостовая сверкала осколками стекла. Из госпиталя вышли бойцы с метлами, совками. Хрустя стеклами, стали подметать тротуар. К ним бросилась женщина:

— Жертвы есть?

— Нема, — ответил один из бойцов.

Больше я не был в этом доме, в этом зале — никогда. Я слышал: зал восстановили и люстру повесили новую, не хуже прежней. А на сцене, говорят, занавес бархатный. А еще говорят, по стенам, между окон мраморные доски висят, и на них фамилии — кто не вернулся с войны...

Иногда проснусь ночью и ни с того ни с сего представляю себе актовый зал. Нет, не таким, как теперь. И не таким, как во время войны. Я представляю его таким, как придумал когда-то, давным-давно, в первом классе, еще не видевши ни разу. И такой, придуманный, он кажется мне настоящее настоящее.

...Вот мы толпимся у заветной двери, у ярко-белой двери с круглой медной ручкой, начищенной до блеска мелом. Нас много — громадная толпа первоклассников, полный коридор. И вот она торжественно распахивается, большая белая дверь, и за ней открывается солнечная дорога, и мы бежим по ней, весело крича, обгоняя друг друга, размахивая руками, смеясь, распевая песни, бежим все дальше и дальше — без конца. И вот уже не слышно нас и не видно, и никого не осталось около белой двери, только на полу бумажки смятые, оторванные пуговицы, фантики, шелуха от семечек... А потом и мусор этот, подхваченный ветром, с шорохом уносится по солнечной дороге, и вслед за тем тихо затворяется большая белая дверь. И — ничего больше.